

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ МИРОВОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДИАСПОРЫ

3/2009

Санкт-Петербург
2009

Работа международной творческой группы «Тайвас» осуществляется
при поддержке:

Посольства России в Финляндии;

партии «Центр»
(Suomen Keskusta r.p.) (Финляндия);

Центра современной литературы и книги (Россия, Санкт-Петербург);

Всемирного клуба петербуржцев

Руководитель проекта «Под небом единым» *Елена Лапина-Балк*

Шеф-редактор *Александр Житинский*

Общественный совет альманаха:

Михаил Левин (Германия, Аугсбург),

Лютель Эдер (Израиль, Ашкелон),

Марина Генчикмахер (США, Лос-Анджелес),

Елена Лапина-Балк (Финляндия, Эспоо),

Надежда Жандр (Финляндия, Вааса)

Наш адрес:

pod-nebom-edinym@yandex.ru

*Издание осуществлено при поддержке Правительственной комиссии
по делам соотечественников*



СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ISBN 978-5-93682-572-9

© Авторы, тексты, 2009

© «Геликон Плюс», оформление, 2009

© Посецельская Е., обложка, 2009

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ



Обращение к читателям Председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

Вашему вниманию предлагается книга о российской диаспоре. Примечательно, что она подготовлена самими соотечественниками и рассказывает о том, как складывались их судьбы, формировалась диаспора. Её лейтмотив в том, что несмотря на различия всех нас объединяет любовь к Отечеству, чувство сопричастности великой русской культуре, гордости за нашу страну.

Развитие отношений партнёрства с зарубежными соотечественниками всегда будет среди приоритетов внешней политики России. Это также касается защиты их законных прав и интересов, укрепления позиций русского языка и культуры за рубежом.

Убеждён, книга найдёт заинтересованного читателя, будет востребована как убедительное подтверждение традиционно тесных связей соотечественников с исторической Родиной, объединяющей нас приверженности к раскрытию колоссального созидательного потенциала «русского мира».

С. Лаєров

Вместо предисловия

Третий, летний, альманах русскоязычной мировой диаспоры «Под небом единым», выпускаемый международной творческой группой «Тайвас», на этот раз скомпанован несколько иначе.

Этот год проходит по всему миру под знаком «Года семьи». Конечно, и мы не смогли пройти мимо такой важной и близкой всем темы и с удовольствием «влились» в эту «семейную» линию. Просто, может быть, несколько расширив рамки — не только «История моей семьи», но и «Истории моей семьи» — а значит, нас интересуют не только документальные факты и подлинные события семейного архива, но и художественные эссе или рассказы, связанные с родными или близкими. Поэтому первая часть альманаха — свободно расположенные «семейные истории», и среди них фрагмент документальной повести Виктории Поплавской (Швейцария), лауреата конкурса, проводимого «Голосом России» по той же тематике.

Восемь прозаических работ авторов из пяти стран — от строго документальных и документально-художественных до произведений, написанных в жанре эссе и рассказа, совершенно разных по форме, содержанию и стилистике, — знакомят читателя с интереснейшими, порой невероятными событиями, не только личными, семейными, но и историческими, ибо все эти события происходили в рамках определённого исторического периода в разных городах и республиках бывшего СССР — огромного русскоязычного пространства, которое и одарило нас, разбросанных по всему миру, этим бесценным богатством — умением и желанием — несмотря ни на какие жизненные сложности и превратности судеб — писать на РУССКОМ языке, объединяющем и сближающем и по-прежнему родном.

Следующая, наиболее объёмная, часть альманаха — поэзия и проза, знакомящая с творчеством 35 авторов из 12 стран. Здесь уже традиционно авторы (и их произведения) расположены в алфавитном порядке, по странам — от Австралии и до Эстонии, через весь мир — Израиль, Россия, Германия, Бельгия, Италия, Великобритания, США, Франция, Швеция и Финляндия.

И в финальной части сборника — и тоже традиционно — юмор, пародии — и тоже со всего мира...

Всё, как в жизни, — от серьёзных, важных, порой трагических событий через лирику, поэтику, любовь, философию и самоиронию к улыбке, юмору и просто хорошему настроению...

Надеемся, что и вам, уважаемые читатели, третий выпуск альманаха «Под небом единым» подарит радость — радость знакомства с новыми интересными поэтами и прозаиками, а их немало в этом выпуске; и радость узнавания новых граней творчества авторов, уже хорошо знакомых и любимых по прежним выпускам.

*Людмила Клёнова,
член СП Израиля, МСП «Новый современник»*

Наталья Лайдинен (Финляндия)

Древо Исаака: заметки об истории семьи Лайдиненов

Двадцатый век — время масштабных геополитических перемен, грандиозного рассеивания и переселения народов. Войны, революции, катаклизмы в своем огненном вихре не щадили ни судеб отдельных людей, ни семей, ни целых народов.

Финны, проживавшие на рубеже веков в Ингерманландии, не стали исключением. Сегодня в России вообще мало кто знает, что такое Инкери: в ответ на такой вопрос, к примеру, москвичи обычно растерянно пожимают плечами. Тем не менее у ингерманландской земли богатая и непростая история: несколько столетий подряд она служила яблоком раздора сразу для нескольких государств, за нее воевали, ее защищали и возвращали, передавали из рук в руки по условиям различных договоров.

Исконное население территории (финно-угорские племена) активно обновлялось, принимало и ассимилировало вновь приезжающих поселенцев (русских, финнов, шведов...). Так повелось исторически, что в Инкери проживали и трудились люди самых разных национальностей и религиозных взглядов.

Корни истории моей семьи именно оттуда, из многострадальной ингерманландской земли. Оставшимся в памяти патриархом существующего рода Лайдиненов считается зажиточный крестьянин Исаак (мой прапрадед). Он и правда похож на легендарного библейского праотца: окладистая курчавая борода, глубокие темные глаза, уверенность и мудрость во взгляде, коренастая фигура...

Меня часто спрашивают: как правильно писать фамилию Лайдинен? Ведь финский язык не предусматривает звонкого звука «д»! Действительно, это так. Вероятно, однажды при оформлении в паспорта вкралась ошибка. Тем не менее несколько веток семьи Лайдиненов, проживающих в России и за рубежом, несмотря на разницу в написании фамилии отпочковались от единого древа.

В деревне Старые Черницы у прапрадеда был просторный уютный дом — места в нем хватало всем. Семья Исаака была немаленькой: с ним жили жена, черноокая строгая красавица Ева (в девичестве Кемпи), до старости сохранившая стройность фигуры и пронзительный яркий взгляд, дети, внуки, которых по-своему баловали, но с ранних лет приучали к труду. В соседних деревнях жили также две сестры Исаака, его брат, другие близкие и дальние родственники. До некоторых пор все в семье было хорошо и ладно.

Старший сын Исаака, Адам, человек в народе уважаемый (он возглавлял колхоз и пожарную часть), женился по большой любви на односельчанке Марии. Она была красивой и умной девушкой, хозяйственной и

домовитой, умела со вкусом одеться и при том оставалась скромницей. К сожалению, позже жизнь заставила ее проявить не только эти, но и совсем другие личностные качества — мужество, силу, терпение...

Это одна из самых романтических, но и трагичных семейных историй. Сильный и красивый Адам (на которого как две капли воды похож в молодости мой отец Валерий) был опорой и надеждой родителей, у него друг за дружкой родилось трое детей — сыновья Иван и Александр и дочь Герта. В самом расцвете сил, на тридцать седьмом роковом году, он ушел из жизни. Его молодая вдова Мария Исааковна (моя прабабушка) осталась с маленькими детишками на руках, именно на ее плечи легла нелегкая ответственность по поддержке и сохранению семьи — в этом было дело ее жизни, ее человеческий и женский подвиг. Она больше никогда не вышла замуж, целиком посвятив свою жизнь детям и внукам.

Дальше испытания посыпались на семью, как из рога изобилия. Стали сказываться последствия революционных преобразований на селе: в деревнях усугублялись проблемы, один за другим из жизни уходили старики, для Ингерманландии и ее жителей наступили черные времена.

Стал комсомольцем и потом начал работать в финской советской печати Ленинграда (в частности, в газете «Вапаус» под руководством Карла Лепола) младший сын Исаака, начинавший избачом (сотрудником деревенской избы-читальни) Иван Лайдинен. Этот выбор оказался для него судьбоносным — в дальнейшем Иван Исаакович стал известным журналистом и пятнадцать лет подряд возглавлял известное карельское издание на финском языке — «Неувосто Карьяла».

Самым страшным событием для семьи Лайдинен, как и для большинства населения СССР, стало начало Великой Отечественной войны. Довольно быстро она докатилась до северной Инкери. В семье до сих пор помнят страшную дату — 20 августа 1941 года. В этот день сгорел, казалось бы, поставленный на века, окруженный прекрасным ухоженным садом дом в Старых Черницах. Женщины и дети остались без крова над головой. Так началось бегство и рассеивание семьи в поисках спасения. Некоторые родственники сразу были перевезены в Финляндию, другие добирались туда длинными окольными путями.

Часть семьи была первоначально отправлена в Эстонию. Там 7 недель дочь Исаака Ида и моя прабабушка Мария Исааковна с детьми жили в землянках и голодали. Это было страшное время.

Дальше война забросила семью в Финляндию, сначала в Вяртсиля, потом — в Йоенсуу. Мария Исааковна и дети оказались в семье Анны-Лизы, которая взяла их к себе в дом и помогала им материально. Анну-Лизу прабабушка вспоминала с теплом до конца дней: эта женщина помогла выжить ей и детям!

После окончания войны несколько членов семьи приняли решение не возвращаться в Россию, а Мария Исааковна с детьми и золовкой Идой вернулись на родину. О том, чтобы снова начинать жизнь в Ингерманландии, не могло быть и речи! Сначала они жили несколько лет в Торопецком районе, в деревне Голубино. Ида Исааковна так и осталась в Торопце, а Мария Исааковна и дети были перемещены в Карелию. Только тогда стало очевидно, что несмотря на окончание войны и благополучное возвращение в Россию впереди их ждало еще много испытаний и проблем.

В Советском Союзе плохо относились к тем, кто возвращался после войны из-за границы, считали таких людей неблагонадежными. Дети, родным языком которых всегда был финский, были вынуждены забывать его и учить русский. Сгушалась атмосфера страха, в семье было не принято рассказывать о пережитом даже в послевоенное время.

Тем не менее, жизнь брала свое. Оказавшийся волей судьбы в Беломорском районе, мой дедушка Иван Адамович, старший внук Исаака, закончил курсы и работал машинистом. Именно там он встретил и полюбил девушку Нину, уроженку Белоруссии, и в 1948 году женился на ней. Через год в деревне Вирандозеро в любви и согласии родился мой отец Валерий Лайдинен. Его учили говорить уже на русском языке.

В 1954 году семья моего деда переехала в Петрозаводск. Там Иван Адамович учился в лесотехническом техникуме, потом закончил университетские подготовительные курсы и учился на лесоинженерном факультете Петрозаводского государственного университета.

В столице Карелии семейная история рода Лайдинен на долгие десятилетия переплелась с историей знаменитого Онежского тракторного завода, в 1703 году давшего название городу Петрозаводску. На заводе более тридцати лет подряд трудился Иван Адамович, пройдя путь от простого рабочего-слесаря до начальника прессово-заготовительного цеха. За свою работу он получил звание Заслуженного работника народного хозяйства КАССР. На счету Ивана Адамовича — множество разработок, рацпредложений, немало подтверждений которым хранится в музее завода, библиотеках города, а главное — в тысячах тракторов, работавших на лесозаготовках не только Советского Союза, но и многих стран мира. Моего деда очень уважали и ценили на заводе, его слово и мнение были авторитетными.

Трудовую эстафету Иван Адамович передал сыновьям — и мой отец Валерий, и его брат Юрий тоже много лет посвятили Онежскому тракторному заводу.

После всех бед и испытаний семья, спасенная Марией Исааковной, сплотилась и начала разрастаться. Все вместе отмечали праздники, свадьбы, рождение детей и внуков. Вместе и трудились — заготавливали на зиму сено для коровы и дрова для печи, рыбачили, работали в огороде, помогали Марии Исааковне по хозяйству. Центром семейной жизни долгое время оставалась именно моя прабабушка, женщина исключительной доброты и гостеприимства. Остаток жизни она провела в глухом карельском поселке Ахвенламби, в Медвежьегорском районе, вместе с дочерью Гертой, зятем Григорием и тремя внуками — Риммой, Ильей и Марией. В Ахвенламби проводили каждые летние каникулы мой отец Валерий и его брат Юрий, их двоюродные сестры Ирина и Наталья... Уже будучи взрослыми семейными людьми, они с радостью приезжали к Марии Исааковне с женами, мужьями и детьми — такой невероятной притягательной энергией обладала хранительница семьи!

До последнего момента прабабушка оставалась в ясной памяти, рассказывала истории из непростой, долгой жизни, всех поддерживала, всем помогала. Она была мостиком, связывающим семью с памятным противоречивым прошлым. На ее столетие, отмечавшееся уже после ее смерти, съехались родственники, чтобы помянуть ее светлое имя и поблагодарить за то,

что в самые тяжелые времена эта героическая женщина сумела сохранить и спасти семью.

В последние годы я кропотливо интересуюсь судьбами родственников, которые потерялись и рассеялись в вихрях войны и последующих десятилетиях. Оказалось, что время раскидало представителей рода Лайдиненов по свету: они живут в Финляндии, Швеции, в Ленинградской области и в Эстонии, в Москве, в Тверской области, в карельских городах и селах — Петрозаводске, Ахвенламби, Сегеже, Пудоже, Ладве... А один из потомков Исаака, Андрей, и сегодня живет в Гатчине, служит в лютеранском соборе. Работу в архивах над историей нашей семьи я планирую продолжить.

Все знакомые отмечают несколько основополагающих качеств рода Лайдиненов, которые передаются из поколения в поколение с давних времен: это трудолюбие и простота, открытость и готовность помочь, честность и справедливость — люди, на которых можно положиться!

Я с гордостью думаю о своей семейной истории и уверена, что дерево, взлелеянное Исааком, и дальше будет расти, ветвиться и приносить миру новые замечательные плоды!

Екатерина Муртузалиева

(Россия, Дагестан)

Семейные истории, или «Вспомянушки» из детства

Историю каждой семьи можно представить себе «материализованно», метафорически. У одних семей — это шкаф, в котором можно найти что угодно, вплоть до «скелетов», у других — большой комод или кухонный старинный буфет, у кого-то еще — большущий толстый фотоальбом с фотографиями детей, родителей, дедов и прадедов, фотографий современных — цифрового формата и снимков выцветших, с желтизной, черно-белых. Мне очень хочется представить себе историю моей семьи как кованный, с цветной мозаичной крышкой и боками сундучок, закрывающийся на навесной замок. Этот сундучок, подаренный бабушкой, мамой моего отца, стоит у нас в спальне. Какое «наследство» может быть у бабули почти ста лет от роду? Но этот сундучок она гордо подарила моей маме, чтобы остался в нашем доме как память от нее, бабушки Ашуры.

Точного ее возраста не знают даже старики в селе. По паспорту бабушке Ашуре в апрельские дни этого года минуло девяносто лет, но, как говорят односельчане, которых спрашивал папин брат, она старше лет на пять, как минимум, а может и на все семь. После октябрьских событий 1917 года в селении Муги Акушинского района Дагестана с архивной статистикой было не очень, и потому возраст Ашуры записали почти наугад много позже, когда она получала паспорт. Она уже почти не видит, не слышит, наша маленькая горбатенькая старушка, но, удивительное дело, всегда умудряется разглядеть или расслышать то, что мы хотим от нее утаить: короткие юбки, платья с разрезами, неприятные новости. Зоркость и мудрость ли сердца помогают ей, кто знает?

По-даргински (а мои бабушка с дедушкой по отцовской линии — представители именно этой народности Дагестана, одной из более чем тридцати коренных) «аба» — значит «мама», но свою бабушку Ашуру мы с детства называем абакой, может быть, потому, что она родила восемь детей, но четверо, в том числе и дочери, умерли в раннем детстве, осталось четыре сына, один из которых — мой отец, второй по старшинству среди братьев. Трое из братьев привели в дом русских невесток, и только самый младший женат на даргинке. Вот такой интернациональный у нас «тухум», или род, чтобы было понятнее. У нашей абаки есть младшая сестра — Хадижат, которую бабуля растила самостоятельно. Их мама умерла, когда девочки были маленькие, особенно младшая, а отец женился вторично и ушел жить в дом новой жены, отношения мачехи с падчерицами не сложились, не оказалось у нее любви для девочек. Ашура проучилась только три или четыре класса, а потом вынуждена была пойти работать в прядильно-ткацкую мастерскую, которая была в селе, ведь нужно было зарабатывать себе и сестренке на жизнь.

По рассказам абаки, жизнь тогда была трудная, но интересная. Когда я была маленькой, очень любила расспрашивать бабушку про те времена и, затаив дыхание, слушала про девичьи посиделки, которые устраивались то в одном, то в другом доме села. Девушки сидели за различной работой, рукоделием, а когда приходили сельские парни, то начинались импровизированные танцы, лезгинка, песни. Не на таких ли «посиделках» в импровизированном сельском «перекати-клубе» приглядел себе будущую супругу мой дед Омар? Ашура и сама вышла замуж, и выдала замуж свою сестру.

Вспоминается, как мы оставались ночевать с сестренкой Гулей у абаки с хуттукой («хутту» — дедушка), и как же интересно было сушить сухари из хлеба на печке, за дверцей которой трещал огонь, крутить «колесико» на старинном, начала века, громоздком радио, которое давно не работало, и лакомиться «эксклюзивным» бабушкиным угощением, на которое не каждый современный ребенок и позарится. Рецепт первый, будничной: на кусок хлеба тонким слоем посыпается сахарный песок, а потом сахар смачивается водой из чайной ложечки. И как же здорово летом, забежав с улицы, приготовить себе это «угощение» (а мы его так и называли — «хлеб-сахар-вода») и мчаться с этим лакомством снова во двор к двоюродным и троюродным братьям и сестрам! Рецепт второй, праздничной: на кусок хлеба намазывается тонкий слой сливочного масла и сверху этот слой масла посыпается тонким слоем сахара!

Но прежде чем продолжить мой рассказ, мне хотелось бы поделиться другими «вспомянушками», хотя это «вспомянушки» обо мне, а не мои собственные, очень уж я была мала в то время!

Мои родители произвели меня на свет в городе Веймаре. Отец в то время — в 1970 году — находился на сверхсрочной службе, выполняя свой воинский долг в дружественной ГДР. Встретились и поженились они во время отпуска, когда отец приехал на побывку в отпуск. История эта невероятно романтичная, но... ведь это не моя история, поэтому о подробностях я скромно умолчу. Отец вернулся к месту службы, в город Рудольштадт, а мама осталась заканчивать учебный год в средней школе поселка Первомайский, где она первый год по распределению работала учительницей начальных классов. Год завершился, и мама уехала к отцу. Они уже ждали меня.

«Мы» демобилизовались в 1973 году. Была у меня там, в Рудольштадте, ровесница-подружка — Ирка, тоже дочь военнотружашего. Как-то раз мы с ней, увидев висящую под потолком кухни связку сушеного горького перца, взобрались на стул, содрали этот перец и исследовали его, что называется «на зуб», а потом еще и, начав реветь от горечи во рту, натерли себе глаза, вытирая слезы. По словам мамы, картинка была еще та!!! Зуд любопытства коренится в самой глубине природы каждого ребенка!

«Вспомянушка» вторая. Интересно, что я помню зрительно картинку нашего приезда в Каспийск. Ночь, городская автостанция, горящие фонари, встречающие нас какие-то люди (оказывается, родственники!), то, как я убегаю от незнакомой бабушки. А дальше уже по рассказу мамы и бабушки Ашуры. Как водится, после приезда ходили, ездили в гости к родственникам. Добрались до города Избербаша, а там в то время о многоэтажках и не слышали, сплошной «частный сектор». Мне нет еще и трех лет, где-то два с половиной годика. Выходят бабушка, мама, все остальные со двора на улицу и видят меня в окружении ребятни. Сижу я на лавочке возле ворот

и выговариваю все известные мне немецкие слова: гутен таг, гутен морген, аффидерзеен, вэг на хауз (добрый день, доброе утро, до свидания, иди домой — искаж. нем., — *Е.М.*)... Выступление «на бис», не больше, не меньше!!! И дети, которые русским языком владели гораздо хуже, чем даргинским, раскрыв от удивления рты слушают «иностранку»!

И со стороны мамы, и со стороны отца у меня очень много родственников, и мое детство проходило в большой семье двоюродных и троюродных братьев и сестер. Мы вместе проводили каникулы, вместе радовались праздникам и, признаться, были неистощимы на выдумки. То мы играли в казаки-разбойники, но не просто так, а рисовали карты-схемы окрестных улиц, отмечая на них наши «места дислокаций», а «противная сторона» должна была отыскивать, где же мы спрятались; то мы разыгрывали сказку «Золушка», где самая старшая двоюродная сестра — Марина, конечно же, была Золушкой, моя троюродная сестра Зумруд (а тогда просто Зумка) — мачехой, а я и другая троюродная сестра Зубайдат (тогда Зубуля) — дочерьми мачехи, а самый младший из тогдашней нашей компании — троюродный брат Назим (светлая ему память, он ушел из жизни в тридцать лет) был принцем...

Помню, как мы из подручных материалов мастерили воздушных змеев и, заразив этим занятием всех детей улицы, бегали потом со своими змеями по нашей улице, носившей тогда название — «8 марта». А чего стоят сохранившиеся в памяти названия автобусных остановок: «Конный двор», «Керосинка», «Пожарка», «Каменный карьер»!

Когда мы переехали в собственную квартиру, родители стали отпускать меня к бабушке одну, снабжая на дорогу двумя пятаками — на автобусный билет. Автобусы тогда ходили редко, мне еще не было восьми лет, но я знала на какой остановке нужно сесть в автобус, а где — выйти. Однажды я решила схитрить и сесть в автобус пораньше, чтобы, проехав сначала одну остановку до конечной, поехать и дальше. Уж больно много народу стояло на остановке в ожидании автобуса. Я перешла на другую сторону дороги, села в автобус, идущий к конечной — «Каменному карьере», купила у тетеньки-кондуктора билетик, а на конечной водитель объявил, что автобус дальше не пойдет, потому что перерыв или пересменка. Я разревелась на весь автобус! Больше пяти копеек у меня не было, остановка была не моя, что делать я не знала. Сердобольные люди выслушали меня и попросили кондуктора, чтобы меня все же довезли до моей остановки. Да, времена тогда были другие! Родители не боялись отпускать детей одних ни на улицу, ни в поездки к бабушкам-дедушкам в пределах города на общественном транспорте, а мы, детишки, таким образом, проходили свои «университеты», учились самостоятельности.

Мы очень любили в детстве мусульманский праздник ураза-байрам. Традиция предписывает не только готовить угощения, сладости к приходу гостей, но и оставлять в этот день двери открытыми для детей. Дети ходят по домам, поздравляя с праздником, произнося на непонятном арабском языке традиционную фразу, которая означает «державшему уразу (пост в течение мусульманского месяца рамадан, — *Е.М.*) — да воздастся!», а хозяева одевают всех детей конфетами, крашеными яйцами, халвой, орехами.

Так как мусульманское летосчисление ведется по лунному календарю, лунные месяцы постоянно сдвигаются, и периодически время месяца рамадан приходится на лето. Помню, как мы, собравшись всей ребятней ту-

хума, ходили «собирать» эти сладкие угощения, а потом сравнивали у кого что там лежит, кого чем одарили, у кого больше. Да, мы честно произносили традиционное поздравление, не то, что нынешние дети. Тогда, в годы «развитого социализма», отношение к религии было совершенно иным, в «городской части» дети не ходили по домам, это практиковалось только в «частном секторе». Сейчас, в годы конфетно-шоколадного изобилия толпы детей начинают ходить по всему городу с семи утра, буквально «ломаются» в двери, и в лучшем случае от них можно услышать «с праздником». После дня таких хождений подъезды домов пестрят мусором, бумажками, выброшенными неугодными ребятам угощениями. Грустно...

Конечно, религиозный смысл праздника тогда от нас, октябрят-пионеров, ускользал совершенно. Я даже как-то заявила абаке, что Бога нет. Какой же шум подняла моя старушка, которая исправно соблюдала пост — воздержание от еды и питья в течение светового дня, молилась по пять раз на дню и учила меня двум обязательным молитвам — «Кулху» и «Алхам», когда я еще и читать-то не умела!

В огороде у абаки росло большое дерево — тутовник, и как только ягоды тутовника (шелковицы) начинали поспевать, мы буквально «поселялись» на дереве и торчали на нем часами! Представьте себе дерево, на котором сидят на разных ветках шестеро (а то и больше!) детей. Куда там бедному Мойдодыру! С нами, синими от тутовника (лица, ноги, руки еще можно было оттереть зеленым тутовником или соком вишни, но с одежды — нет!), никакой Мойдодыр и рядом не стоял!

Еще одна «вспомянушка», но уже со стороны маминой родни. Как-то мы гостили на станции Карланюрт, в родительском доме мамы. В маминей семье смешались русская и украинская кровь. Дедушку Васю я не видела и не знала совсем, он был фронтовиком, имел награды, полученные на войне, ранения. Дедушка умер через два месяца после моего рождения, бабушка Вера и прабабушка Ира жили в Карланюрте. Бабушка Ира торговала семечками и петушками (наверно, только старшее поколение помнит эти самодельные конфеты-леденцы в форме петушка на деревянной палочке), и мы отправляли самого младшего двоюродного братика — Андрюшку — с хитрым детским расчетом, что младшему не откажут, к бабуле, чтобы он попросил для нас этих петушков, а она гоняла его со словами: «А гивна тебе на палочке не надо?» (прошу прощения за вульгаризм). Самая младшая маминя сестра — тетя Нина — как-то полезла в подпол, а когда мы ее спросили зачем, то она ответила: «А сейчас наловлю там лягушек и буду варить для вас суп с лягушками». А потом мы старательно елозили ложками в тарелках, разыскивая там лягушек, но, как вы понимаете, обнаружили там только галушки...

Почему наша память так бережно хранит воспоминания детства? Потому ли, что это самое беззаботное время жизни? Потому ли, что мы, дети, всегда чувствуем себя любимыми, защищенными, свободными. Мы — дети, пока живы наши родители... Мы — дети, даже если у нас в это время растут свои дети и рождаются внуки... Мы — та эстафета, которая передается в роду от поколения к поколению... эстафета любви, заботы, добра, традиций воспитания, культуры... Мы — часть мира, который называется словом «семья».

Виктория Поплавская (Швейцария)

Дети каштана (фрагменты повести)

Италия, Виченца 2008

Я обязательно должна учить английский! Мне так много хочется рассказать Грегу и его жене Кимберли! Языковой барьер просто выводит из равновесия. Я выдавливаю из себя слово за словом, иногда буквально рисую на листе ту или иную картину — получается смешно. На щеках Ким появляются забавные ямочки. Но все же, несмотря на мой скудный английский лексикон, мы улавливаем основной смысл и понимаем друг друга с полувзгляда. Хотя и видимся впервые, между нами так много общего.

Теплое итальянское солнце медленно поднималось над просторами Венето, оставляя в воздухе нежно-розовую дымку. Моя душа, наконец, обрела некое спокойствие и определенность. Сегодня я как бы подвожу итоговую черту в жизни после долгих лет поиска и разгадывания тайн. В моей голове рождались философские мысли. Почему судьба устроила нам встречу именно в Италии? Наверное, для того, чтобы отогреть наши души после долгих лет ледяного занавеса неразгаданных тайн? На самом деле Грег два года должен работать в Италии, после чего снова вернется на свою родину в Канаду.

Маленькая дочурка Грега и Ким зашевелилась в кроватке. Скоро она проснется. «Кейти... Почти украинское имя!» — снова заулыбалась Ким, глядя на малышку. «По-украински — Катя!» — ответила я. И хотя мои собеседники имеют весьма скромные представления об этой стране, я понимаю, как много значит для них слово «Украина».

Украина, с. Шпендовка, середина 30-х XX века

Молодость и любовь Антона и Анны пришлась на суровые годы голодомора. Только желание жить и тяжелый труд могли спасти семью от голодной смерти и нищеты. В 1936-м родилась дочь Маша, в 1938-м — сын Коля. К тому времени Антон уже имел дом, небольшое хозяйство, своими руками сделал пасеку, посадил роскошный сад, смастерил мебель. Подрастали детки, отцветал белою пеленою сад, гудели над пасекой пчелы. Привычную жизнь нарушило страшное известие. Беспощадная война ворвалась в каждый дом. Как и все, Антон ушел на фронт. В 1942-м он попал в плен под Житомиром. Осенью того же года ему удалось бежать и вернуться в родное село. Следующий год Антон работал в колхозе, развозил на лошади почту. В августе 1943-го родилась еще одна дочь Лидия. Для Антона, который души не чаял в своих детях, Лида, рожденная в это ужасное время, была особенно дорога. Через 3 месяца немецкие оккупанты захватили село. Все молодое население они угоняли в Германию. Анну, с тремя детьми на руках, не тронули. Но Антону пришлось собираться в долгий путь. Путь, из которого ему не суждено было вернуться никогда. В последний раз он склонился над люлькой с маленькой дочкой и плакал: «Маша и Коля меня хоть запомнить

могут, но ты-то и отца запомнить не сможешь...» «Береги Лидочку!» — крикнул Антон, когда повозка с немцами увозила его из села. Анна взяла на руки девочку, ее распашонка была мокрая от отцовских слез. В 29 лет хрупкая женщина осталась почти одна в селе с тремя маленькими детьми...

После войны

Войну пережили не все... Но Анна выжила сама и сберегла своих деток, еще не подозревая, что теперь ей снова придется бороться за жизнь. От послевоенного голода и нищеты их спасал все тот же роскошный сад и пасека. Часто Анна оставляла детей одних и ехала за сотни километров от дома, чтобы раздобыть немного хлеба. К тому времени некоторые мужчины вернулись с войны, остальным семьям досталось горькое: «ПОХОРОНКА». Анне не досталось ни то и ни другое. С 1943 года — ни единого письма, ни единой весточки от Антона! «Значит, погиб», — думала она. Но все же постоянная неопределенность и мучительное ожидание терзали душу. И, как клеймо для нее и для детей, был вынесен приговор судьбы: «Пропадал без вести».

Однажды в сельсовет приехали люди из НКВД. На допрос вызвали Анну. Люди в черных костюмах ее долго допрашивали: «Что вы знаете о вашем муже?», «При каких обстоятельствах он попадал в плен?», «Что бы вы делали, если бы он оказался жив?». Анна не могла понять, в чем ее вина и в чем вина ее мужа, ее охватил страх. Что могла она рассказать?.. По ее щекам катились горячие слезы. Убедившись, что женщина ничего не знает, ее отпустили. Но сам факт допроса органами НКВД в селе просто так пройти не мог. Политический строй был строго ориентирован на подозрения и репрессии. «Раз допрашивали, значит есть вина...» На следующий день председатель колхоза конфисковал со двора пасеку и большие деревянные часы из дома... Больше забирать было нечего. От отца в семье осталась только старая фотография, деревянная резная кровать, на которой теперь спала Лидочка, вишневый сад и такой же высокий, крепкий, как Антон, красавец-каштан, посаженный его руками рядом с домом. Только он и заменял всю жизнь детям отца. Летом он укрывал их своей кроной от знойного солнца или дождя, зимой каждый день встречал их во дворе, широко раскинув ветви под белым одеянием, словно хотел обнять своих сорванцов. Иногда сестра и брат рассказывали маленькой Лиде разные истории про отца. Мария вспоминала, как отец после работы любил покрасоваться по селу в хорошей одежде и до зеркального блеска начищенных сапогах. Коля с трепетом рассказывал забавную историю, когда Антон спас его от наказания матери. Как-то Анна раздобыла доски для нового забора. Маленький Коля нашел для них другое применение. Он смастерил для всей семьи лыжи...

Все дети, оставшиеся в селе без отца, получали помощь. На праздники им всегда раздавали подарки: обувь, одежду и продукты. Только детей Анны в списках никогда не было. Может, потому, что не было похоронки на мужа; может, потому, что Анну допрашивали, а может, и потому, что председатель колхоза что-то знал про Антона...

Моя история

В конце 1971 года мой отец, счастливый и сияющий, вбежал в квартиру и торжественно объявил, обращаясь к моей маме: «Лидочка, я дал согласие

ехать работать за границу!» Большинство советских людей про путешествие, а тем более про работу «за границей» даже и мечтать не могли. Молодые, наивные родители от души радовались столь интересному повороту судьбы. Они даже не задумывались над теми трудностями, которые могут возникнуть, и несмотря на то, что я вот-вот должна появиться на свет. Когда в посольстве пришлось заполнять анкеты, моя мама вдруг одумалась: «А ведь нас не пустят за границу... Мой отец — без вести пропавший!».

...В графе «Отец» моя мама написала всего три слова: «Пропал без вести». Оформляя документы в УВД г. Киева, она однажды осмелилась спросить у начальника отдела о своем отце. При ней в кабинет занесли толстую папку. Начальник просмотрел в ней документы и сказал: «Я не имею права рассказать вам об Антоне. Эта информация предназначена только для нас. Скажу лишь одно: ваш отец — хороший человек. Счастливого пути, Лидия Антоновна!». Пожав ей руку, он забрал папку и удалился. Мама еще долго плакала, сидя в парке...

Когда я подросла, я все время спрашивала, почему у меня только один дедушка? Ведь бабушек — две, значит и дедушек должно быть два! Я смотрела на старую, выцветшую от времени фотокарточку. Это была свадьба моей бабушки и деда по линии отца. Дед Антон был у них боярином! Мои родные два деда, два лучших друга стояли рядом. Какая-то неведомая сила распорядилась так, что моя мать вышла замуж именно за сына лучшего друга Антона.

Мне объясняли, что дедушка Антон не вернулся с войны, он погиб. По фотографиям и рассказам я нарисовала себе его образ. Помню, постоянно спрашивала: «А он герой?».

...Куда я только не писала, куда не обращалась в попытках хоть что-то узнать о своём дедушке... Всё безрезультатно...

В 2001 году «с последней надеждой разыскать деда и отца моей матери» я обратилась на телепередачу «Жди меня» в Москве. Мне казалось, что еще не все сделано для того, чтобы найти людей, которые могли хоть что-нибудь рассказать о судьбе Антона после 1943 года. Шло время, но никаких известий не было...

Верить в чудо

Когда в нашем доме появился Интернет, мне казалось, что это маленькое чудо. В Интернете я проводила много времени, самым любимым занятием был, конечно, поиск моих знакомых, затерявшихся после студенческих лет, друзей, разлетевшихся по всему миру, и конечно же, розыск Антона. Очень интересно было находить однофамильцев моего деда. Я всем рассказывала одну и ту же короткую историю о том, что он пропал без вести и что его разыскивает семья.

...Однажды я получила сразу несколько писем от разных адресатов, в которых было написано: «Да, это моя девичья фамилия!..», «Вы утверждаете, что Антон — Ваш дедушка, но он также является моим отцом!», « Этот человек — мой отец!» Все письма шли из Канады. Мне писали незнакомки Нина, Ольга и Лиза, письмо за письмом, похожие на виртуальную игру, на будоражащий воображение сон. «Меня зовут Нина. Я родилась в 1947 году

в Германии», «Мы дочери Антона. Мы живем в Гамильтоне», «Это невероятно, но Вы наша семья тоже!..» Впервые в жизни я не поверила в то, что Антон мог остаться жив. Мое сердце сжималось от непонятного щемящего чувства, которое предвещало не то разочарование от неудачной шутки, не то взрыва радостных эмоций от счастливого хэппи энда. Я еще раз отправила подробную информацию про Антона моим таинственным незнакомкам и попросила их выслать его фотографии. Разница во времени с Канадой составляет 7 часов. Я мучительно ждала, когда наступит канадское утро. Наконец пришло письмо с фотографиями и документом. Первая фотокарточка была сделана, очевидно, еще до войны. Она была ретуширована. Я лихорадочно искала сходство. Но затем я поймала себя на мысли, что на всех старых ретушированных фотографиях можно найти сходство с кем угодно. Подобного снимка у моей бабушки не было. В следующем приложении был документ с инициалами и маленькой фотокарточкой хорошего качества. Ее даже не пришлось сравнивать. Поразительное сходство с лицом моей матери, моей тетки и моего дяди... Одни и те же черты, одни и те же глаза, только более печальные, одни и те же линии губ... Уже с третьего портрета на меня смотрел пожилой, лысоватый дедушка Антон в белой рубашке. Невероятно! Ведь для всех в памяти он остался молодым... Теперь сомнений больше не осталось. «Да! Да! Это он! Это мой дедушка! Нашла!!!» — кричала я и плакала от счастья. «Это чудо, что мы нашли!» — писали мои родные и незнакомые мне тетушки...

* * *

«Дорогой Грег! Как много я должна рассказать тебе! Еще больше я хочу услышать от тебя твою историю. Наши истории дополняют друг друга, как пазлы. Ведь мы брат и сестра! Мы — кузены!» Я достала из сумки маленький, сухой орешек каштана. «Посади его в Америке, когда вернетесь... Это плод от дерева нашего с тобой деда...» Грег понял меня. Этот орех даст жизнь новому могучему прекрасному растению... Кейти проснулась и протянула к нам свои крохотные ручонки. Я сняла с груди мой маленький православный крестик и протянула его Ким. «Это для твоей Кати!» Ким бережно надела мой скромный подарок — символ веры — на шею девочки. Кейти... Маленькая американка, рожденная в Италии, в жилах которой течет украинская кровь. Ты обязательно узнаешь историю твоей семьи! Теперь уже без тайн и секретов...

...Пять дочерей Антона наконец встретились под тем самым красавцем каштаном в далеком украинском селе, исполнив последнюю волю их отца. Сестры теперь навсегда будут вместе, несмотря на огромное расстояние между ними. А для внуков и правнуков этот пробел и белое пятно в истории семьи уже заполнены.

...Я выполнила свою самую главную миссию в жизни. Я восстановила семейную ветвь и оставлю потомкам память о родном человеке, который затерялся на долгих 62 года.

Главное — просто верить в чудо!

Людмила Клёнова (Израиль)

Блики...

Как далеко я ушла от тебя по своей дороге, мой старый дом! Как долго не приходила я к тебе, тёплая колыбель моего детства...

И вот, наконец, забросив все дела и преодолев тысячи километров, разделяющих нас, я иду — К ТЕБЕ! — по заброшенной, еле видной тропке МОЕГО сада — вслушиваясь... Вспоминая... Узнавая...

И солнечные блики, щедро разбрасываемые октябрьским солнечным днём, стелятся мне под ноги...

Вот он — с уже потемневшим от времени срубом, но всё ещё дающий свою живительную влагу всем живущим рядом — старый колодец — с длинной цепью и оцинкованным ведром — у калитки во двор, открытый для входа с улицы — чтобы каждый желающий мог набрать из него удивительно вкусной чистейшей воды... Его выкопал мой дедушка. Дед Димитрий... Живым его не помню... Но отчётливо вспоминаю лежащим на столе со скрещенными на груди руками — в белой рубашке, с аккуратно расчёсанной роскошной бородой — знаменитой дедушкиной бородой, за красоту и величину которой держали его швейцаром в очень дорогой гостинице... И свечи вокруг, и запах ладана — печальный и тёмный... И людей, сидящих и стоящих вокруг в большой комнате с занавешенными зеркалами... «Отмучился», — слышится тихое... Одно из самых ранних моих воспоминаний...

Потом, много позже, бабушка Саня рассказывала, что дед, будучи человеком очень набожным, всю войну прошёл без единой царапины — хранила его иконка с ликом Богородицы, которую он носил на груди. И лишь один раз выронил в окопе... Вернулся ночью, когда стихла стрельба, чтоб найти и забрать — и остался единственным выжившим из тех, кто ночевал в захваченном доме... Убила его тяжёлая болезнь — уже после войны...

А иконка эта — маленькая, в серебряном окладе, со светлым ликом Богородицы на тёмном дереве — до сих пор висит на стене в квартире брата — и светит — памятью и добром...

...Несколько шагов по направлению к дому — и узнаю нашу печь — настоящую русскую печь — вот она, всё ещё стоит... Она и поставлена была не в доме, а во дворе — чтобы каждый, кто хочет, мог ею воспользоваться... И на Пасху все родственники и все соседи пекли в ней куличи... Таких куличей, какие выпекала в этой чудо-печке бабушка Саня, я не ела больше никогда и нигде... И помню бабушку очень отчетливо — вот здесь, у печи, быструю и спорую, с хватом в руках, ловко вынимающую из горячего нутра этого громоздкого сооружения различной величины формы с ароматной, румяной сдобой...

... Дальше по дорожке — утоптанная квадратная площадка...

Проступает в памяти, как на проявляющейся фотографии, — отец — молодой, сильный, стройный, красивый... Папа Петя занимается спортом. Сняв гимнастёрку и оставшись в галифе и майке, он, разбегаясь по дорожке-

ке, ловко взлетает вверх в прыжке и, сделав сальто, «приходит» руками на загодя поставленный здесь табурет, оттолкнувшись от которого, делает ещё одно сальто — и касается ногами дорожки впереди... И малышка, которой я была тогда, с восхищением смотрит на все эти цирковые номера, который проделывает обожаемый Петруша — так я называла его в детстве...

Лишь однажды он, помнится, промахнулся... Приземлился мимо табурета — лицом вниз... И мама, смеясь и плача, несколько дней приводила в порядок его лицо, отмачивая то, что от него осталось — стёсанную и стянутую коричневой жёсткой коркой кожу — отваром из стеблей полевого хвоща, щедро растущего за домом...

А вот и МОЙ клён — я посадила его сама рядом со своим окошком, когда пошла в школу... Какой же ты стал красивый и большой, мой друг! И ты уже смотришь свысока на старенький дом, роняя на его крышу мудрый шелест своих осенних листьев...

...Здравствуй, Дом мой! Наконец я могу прикоснуться к Тебе ладонями... Как же ты постарел, дорогой... И сколько ещё хранишь в себе — МОЕГО...

Деревянная веранда, вся испещрённая отверстиями от осколков — Харьков обстреливали очень яростно, как рассказывала мне пережившая и немецкие бомбёжки в Великой Отечественной, и оккупацию всё та же бабушка Саня... Вот крупная, удлинённой овальной формы рана на серебристых, выцветших от многолетних дождей и снегов досках веранды... Памятна она — Даша, старшая из шестерых бабушкиных детей, при очередном обстреле наклонилась над колыбелькой, где лежала её новорождённая дочь, — и приняла этот осколок, пробивший хрупкую деревянную защиту — спиной, чуть пониже левой лопатки... Успев прикрыть собой маленькую Ларису...

Лариса осталась жить — а могилка Даши — а потом и мужа её, Мити, была чуть дальше — вон там, у заборчика, рядом с крепким, старым уже тогда дубом...

...Бог ты мой — любимый стульчик... Лежит себе в уголке, возле кладовки... Краска уже облупилась — только синие пятна прежней весёлой расцветки проглядывают кое-где... Сколько с него было пропето песенок и прочитано стихов маленькой голосистой Люсенькой для маминих гостей!..

Мама Оля, синеглазая шатенка, маленького росточка, но очень стройная и какая-то стремительная, работала в школе преподавателем — и часто собирала дома своих коллег. А я всегда радовала их чем-то новым из своего чтецко-песенного репертуара... И к этому вечеру я готовила что-то интересное, конечно же... Но утром, гуляя по саду, увидела за забором, на улице, подводу, гружённую тяжёлыми ящиками, — застряла она в какой-то колдобине, в грязи — и бедная лошадка, рыженькая, худая, никак не могла сдвинуть её с места. Мужик, соскочивший с подводы, то настёгивал бедолагу кнутом, то, схватив под уздцы, пытался помочь ей сдвинуться вперёд, то подталкивал подводу сзади — и при этом всё время что-то громко и безостановочно кричал...

Память у меня была замечательная, слух — и того лучше...

И вот вечером, встав на свой любимый «концертный» стульчик, я и выдала маминим гостям — очень выразительно! — весь тот многоэтажный и,

судя по реакции присутствующих, очень щедрый и кучеряво-забористый мат, которым поливал возница с утречка лошадку...

И мама, и её коллеги долго ещё вспоминали этот потрясающий по силе эмоционального воздействия мой «монолог»...

А здесь, где более светлый прямоугольник на полу, я помню, стоял старый массивный шкаф — и в нём висело моё самое любимое платье — из полупрозрачного батиста, молочного отлива, в синий горошек... Я казалась себе в нём сказочной феей... И надела я именно его, когда в единственный клуб нашего посёлка приехал с выступлением симфонический оркестр Харьковской филармонии. Вся местная элита, конечно же, пришла на концерт — зал был забит до отказа — я очень хорошо это помню. И помню, как зачарованно смотрела на музыкантов и их инструменты — скрипки, виолончели... Тогда я и понятия не имела, как они назывались... но это выглядело очень красиво...

И вот вышел дирижёр, поднял руки — и...

Всё для меня окончилось в этот миг — когда зазвучала самая первая нота — и ВСЁ — началось... Меня подхватила волна — огромная, тёплая, сияющая — и унесла с собой в неведомые мне прежде края, где звуки пели и смеялись, разговаривали со мной, растворяли меня в себе — и мне не было страшно — только РАДОСТЬ — всепоглощающая радость затопила всё моё существо...

Это потом я узнала, что за дирижёрским пультом стоял Натан Рахлин — замечательный музыкант, и что оркестр исполнял Первую симфонию П.И. Чайковского «Зимние грёзы» — я её узнавала потом с первого же звука...

А сейчас четырёхлетняя Люсенька соскользнула с маминых коленей и медленно подошла к дирижёру, не обратив никакого внимания на мамино тихое: «Ой, нельзя...». Помню, он оглянулся, улыбнулся, кивнув мне головой — и продолжал вести оркестр...

Так я и простояла позади него два часа концерта, вместе с Натаном Рахлиным продирижировав всю программу...

Это он сказал маме, что меня нужно обязательно учить музыке — талантливейший дирижёр Натан Рахлин...

И потом была и музыкальная школа, и консерватория...

А пока... а ТОГДА — была только МУЗЫКА — МОЯ музыка...

...Она звучит во мне и сейчас — у этих окон, в этом саду — и я не могу отойти от тебя, Дом моего счастья, моего детства...

Я не могу оторвать ладони от твоих стен... Я не могу оторвать души от твоего тепла...

Но нужно, необходимо уйти... Отойти на безопасное расстояние... Снова... Успокоиться... Вдохнуть холодного воздуха... Просто перевести дух... Вернуться в ту действительность, которая СТАЛА моей — теперь... Иначе не выдержит сердце — слишком много воспоминаний, ничуть не потускневших, оказывается, всё ещё живут в нём...

И я перевожу взгляд на листья моего клёна — и вижу чуть размыто, во влажных искрах, облик МОЕГО ТАЛИСМАНА — прозрачными золотыми бликами мерцающий в тихом солнечном свете чуткой и по-прежнему любящей меня осени...

Людмила Кирпу (Финляндия)

Экзамен на аттестат счастья

В историю моей семьи вплетены «кружевных дел мастерами» истории нескольких семей, попавших под колёса адской машины, называемой «сталинской эпохой».

Кто-то может сказать: «Опять об этом?.. Сколько можно?.. Ведь уже написано столько романов, снято столько фильмов...»

Да, снято! Да, написано! Но миллионы папок, внешне различающихся только номером дела, хранят конкретные судьбы невинно пострадавших, их родных и близких.

И у каждой семьи своя история, своя трагедия.

В сентябре, в день осеннего равноденствия, мама родила... Крупными хлопьями падал снег, разделяя мир на белое и... не белое.

Был ли он знаковым, этот снег?.. Кто знает?.. Кто знает?.. Но через несколько месяцев новорожденная Люсенька уже совершала свой первый «круиз»... Товарный вагон... Щели с палец толщиной... И нары, нары в несколько ярусов... Люди... вперемешку с домашним скотом...

Если бы Люсенька могла что-либо видеть, кроме склонённого (на протяжении целого месяца) над ней лица мамы, пытавшейся таким образом оградить её от падающих с верхних полок вшей и блох...

Если бы Люсенька могла что-либо чувствовать, кроме прохлады полусырых пелёнок, которые мама сушила на своей груди...

Если бы Люсенька могла говорить...

...Люсенька научилась говорить!

И сегодня она хочет поделиться с вами тем, о чем не могла знать, и тем, что не может забыть...

У Люсеньки были два папы.

Папа Дима, которого в детстве она не видела ни разу, но часто слышала от мамы: «Ах, если бы твой папа был жив!..»

И папа Jussi, заботливый отец, которого начиная с четырёх лет она видела каждый день.

Папа, который вырастил в любви её сына и носил на руках правнука.

История мамы и Димы:

Мама — скромная финская девушка с глазами цвета озёр и нежным именем Анна-Мария, оказалась в репатриационном лагере Эстонии, где ожидала дальнейшего решения своей судьбы как осужденная по статье «враг народа». Осуждённая исключительно в силу своей национальности.

Отец — сын известного московского профессора русской словесности, один из лучших выпускников Кремлёвской школы, а потом курсант артиллерийского училища в Ленинграде, со второго курса ушёл на фронт, раненым попал в плен...

Пережил концлагеря Австрии и — это их судьба — тот же послевоенный репатриационный лагерь в Эстонии.

Там родители встретились, там полюбили друг друга — там же родилась Люсенька...

Из рассказа мамы:

«Была ночь... Твой отец разбудил меня и рассказал сон. Это был вещий сон. Он услышал голос сверху, который предсказал, что скоро нас ожидает *длинная дорога и долгая разлука*. У нас родится дочь, которую будут звать Людмила (милая людям), и что не знать отцу тебя до той поры, когда ты станешь взрослой.

Дальше он увидел себя в церкви, наполненной звуками печальной музыки. Откуда-то сверху падал луч света. Этот луч осветил двух женщин, вошедших в храм.

Одна из них была в длинном чёрном платье, а вторая — в наряде невесты.

Он подошел, обнял свою жену и дочь...»

Дорога была длинной... В Сибири, куда Люсенька попала пятимесячным ребёнком, она тяжело заболела. И если бы не кремлёвские врачи (товарищи по несчастью), погрузившие ребёнка в чудодейственный летаргический сон на целый месяц, то и разлука бы могла стать вечной... Выжила!.. Выжили, растили и воспитывали Люсеньку сотни лучших «врагов». Ведь на лесоповал отправляли (за десятки километров и не на один день) и маму, и бабушку. Вот тогда-то Люсенька и «пошла по рукам», жадно впитывая горе и радость, слёзы и смех...

Выжили все — мама, бабушка и Люсенька.

Вот только отец... Когда и каким образом в семье появилась справка о смерти (от туберкулёза) осужденного (десять лет без права переписки) номер такой-то, я не знаю и уже никогда не узнаю...

Но с той поры, как «добропорядочные соседи» сочли необходимым сообщить одиннадцатилетней девочке, что её родной отец — не тот отец, с которым она живёт с четырёхлетнего возраста, а «враг народа», мама очень часто повторяла: «Когда ты подрастёшь, я всё расскажу. Если бы твой папа был жив...»

Люсенька подросла... В год двадцатилетия семья решила подарить ей поездку в Москву, где, по словам мамы, должны были жить многочисленные родственники со стороны отца.

Откуда же могла знать мама, что родителей Димы и всех близких, заставив отказаться от сына и брата, выслали из Москвы... Дедушка вернулся в Калининский педагогический институт, первым ректором которого был с 1917 по 1925 г., а взрослые дети «нашли приют» рядом с ним.

Всё это мы узнали позднее.

А тогда... Мама предложила отыскать тётю Аню, переписка с которой превралась в самом конце сороковых годов. А поскольку Люсенька — копия своего отца, то узнать её должны непременно все и непременно сразу.

И «копия» отправилась на поиски...

Задача не из лёгких (со множеством неизвестных), но, как говорила «любимая» математичка: «Детка, ты туго, но до истины додум.»

Додум! Ещё какой додум!..

Через полгода поисков тётя Аня найдена. И жила она не в Москве, как предполагала мама, а в Ленинграде, куда в 1954 г. вернулась и семья Люсеньки.

Из рассказа Людмилы:

Проспект Ветеранов. Хрущёвка, четвёртый этаж...

Стою у двери. Жму на звонок. Сердце готово выпрыгнуть и убежать. Ноги ватные. Руки потные.

— Кто там? — мужской голос за дверью.

— Простите, Анна Николаевна, чья девичья фамилия Никольская, здесь живёт?

— Да, а в чём дело?

— Дело в том, что я дочь её брата.

Дверь гостеприимно распахнулась и я попала в объятия немолодого мужчины, который объяснил, что Анна Николаевна скоро подойдёт.

Меня пригласили в гостиную, где на диване отдыхала кареглазая, примерно моего же возраста, девушка — двоюродная сестра.

Вскоре подошла тетя. Слышу как Пётр Петрович говорит о том, что у них гости.

— Вы ко мне заниматься пришли? (Тётя — учитель физики.)

— Аннушка, посмотри внимательнее! — голос П.П.

Секундная пауза... И Аннушка, которой уже за пятьдесят, падает предо мной на колени и тихо говорит: «Люсенька, а ведь твой папа жив!..»

Из письма отца:

«Милая девочка моя, наконец-то пришёл он, этот самый счастливый, самый долгожданный день! Ты сделала меня счастливейшим человеком на земле, наполнила радостью, светом, сняла с моих плеч тяжёлый груз бесконечной тоски по тебе — самому дорогому и желанному в моей жизни... Невыносимо больно и обидно, что мне не пришлось носить тебя на руках, убаюкивать, рассказывая сказки, навевать безмятежные детские сны, радоваться твоим первым шагам, первым успехам...

Мама, должно быть, рассказывала тебе о том, как беспощадно и жестоко разлучили нас, каким горьким было наше последнее свидание, какие тяжёлые испытания и невзгоды выпали на её и твою долю. И ты должна знать, почему тебе дано самое прекрасное из имён — Людмила. Ведь ещё за несколько месяцев до твоего рождения мы знали, что у нас будет дочь, что мне тебя не видеть до той поры, когда ты станешь взрослой...» (1967 г.)

Вот так сбылся, почти сбылся, тот вещий сон...

Дима смог обнять (через двадцать лет) свою Анна-Марию лишь один-единственный раз.

В 1956 году он обрел свободу, но без права проживания в крупных городах, пять лет искал свою жену и дочь, не предполагая, что судьба внесла непредсказуемые коррективы в предсказанное свыше...

Спустя пять лет папа Дима женился и стал отцом. Они вместе с женой учительствовали в сельской школе Калининской области.

Маме, Люсенке и бабушке удалось в 1951 г. вырваться из сибирского «плена». Через всю страну (и без документов) они добрались до Карело-Финской ССР, тогда ещё существовавшей шестнадцатой республики «Союза нерушимого», где жила двоюродная сестра мамы. Через месяц сестра умирает, взяв с мамы обещание не бросать её детей и оставив на попечение десятилетнюю девочку, двухмесячного мальчика и их отца — Jussi (сына офицера царской армии, тоже «врага народа», отсидевшего два года в одиночной камере и шесть лет принудительно отработавшего на строительстве Красноярского аэродрома).

Позднее, во имя детей, они регистрируют свои отношения и меняют фамилию.

Через полтора года у Люсенки рождается сестрёнка, а в 1954 г. семья возвращается в Ленинград, куда папу Jussi переводят на работу.

Людмиле судьба подарила три встречи с отцом, шесть писем (которые она хранит и помнит наизусть) и сорок с лишним лет любви к человеку, сохранившему свою душу удивительно чистой в нечеловеческих условиях немецких и советских лагерей.

Из письма отца:

«...Помни твёрдо: каждую минуту я с тобой, у меня с тобой одно дыхание, один ритм сердца... Дороги к счастью трудны и долги, и если ты думаешь, что они в нашей власти, то лишь в той степени, насколько мы этого заслуживаем. Поверь мне, что вся жизнь наша — непрерывный экзамен на аттестат счастья...» (1967 г.)

Папа Jussi и мама прожили вместе почти пятьдесят лет (вырастив детей, воспитав внуков и подержав на руках правнуков), умерли в один год и похоронены в Хельсинки.

Родные мои отцы, не ссорьтесь там на небесах! Я в равной степени люблю вас и в равной степени благодарю за всё! Любите маму, она этого достойна!

Ловите свои зачётки! Экзамен на Аттестат Счастья вами уже сдан давно!!!

Эдуард Добрыкин (Израиль)

Добрый гений семьи

Именно им стал для нашей семьи гениальный танцовщик, непревзойдённый мастер хореографии, великий — не боюсь этого слова — Артист Махмуд Эсамбаев, обладатель, кажется, всех высших государственных, общественных и творческих наград, титулов и премий. И большой личный друг и моих родителей, и нашей семьи...

В военные годы Махмуд и мои родители в эвакуации, в далёком Фрунзе (ныне Бишкек, столица Киргизии), впервые вышли на сцены сельских клубов и домов культуры — папа вёл концерты, пел куплеты и показывал фокусы; мама играла на аккордеоне, а юный чеченский паренёк (который практически жил в эти трудные годы в семье родителей) танцевал «Цыганочку» и любые другие танцы, которые где-то когда-то видел. Причём, танцевал ровно столько, сколько нужно было, чтобы обеспечить «метраж» концерта — и ровно столько же мама аккомпанировала ему — оба были импровизаторами от Бога... И, конечно же, они дружили. И чувство этой большой и тёплой дружбы пронесли через всю жизнь...

В последние годы жизни отец был «официальным» гостем Махмуда на его юбилее в Грозном. Впечатления папы об этом юбилее — это отдельный и совсем не короткий рассказ... А Махмуд много раз приезжал с концертами в небольшой и, в общем-то, провинциальный украинский Херсон, где папа четверть века работал директором Областной филармонии... Махмуд частенько шутил, что все его гастрольные маршруты по столицам мира и крупнейшим городам СССР пролегают через Херсон... После концерта он, ещё не переодевшись, традиционно говорил несколько слов со сцены — и всегда в своей «финальной» речи называл папу братом...

Об Эсамбаеве написаны сотни газетных статей, тысячи рецензий, десятки книг. Эпизоды из его жизни журналисты «размножили» донельзя — их знают все желающие...

А я хочу рассказать об одном эпизоде, о котором не знает почти никто, кроме нас и самых близких друзей нашей семьи. Этот эпизод очень личный...

Середина шестидесятых. Концерты Эсамбаева в Харькове, где я учусь в Институте искусств. И на первом же концерте — я, конечно, в зале. Не пришёл бы — Махмуд обиделся бы смертельно. Он всегда оставлял контрамарки для близких ему людей в том городе, где гастролировал. Пришёл я на концерт не один, а со своим близким — ещё со школьных лет — другом — вернее, подругой — по имени Люся.

Концерт был, как всегда, блистательным! Махмуд просто не мог танцевать ниже уровня своей же высочайшей планки... Ряд танцев был знаком по предыдущим концертам (некоторые из них потрясли меня впервые ещё в Риге, лет за 10 до Харькова, когда я был совсем мальчишкой) — немыслимо

«роботоподобный» «Автомат», еврейский, с ярко выраженными характерными чертами «Портняжка», индийский — подлинно индийский! — «Золотой Бог», невероятно сложный технически... И в конце — обязательно — бразильский «Макумба» — потрясающий по силе эмоционального воздействия на публику. Были, конечно, и новые работы Махмуда. Люся, видевшая эти танцы впервые, была просто поражена его мастерством...

После концерта мы пришли к Махмуду в гримёрную — рвались туда многие, но пускали очень мало кого — только тех, кого хотел видеть сам танцовщик...

Было видно, как он устал — в очередной раз «выложился» полностью — и физически, и эмоционально, отдал концерту все силы. Он сидел перед зеркалом, раздетый до пояса, и снимал с лица грим. Аккуратно поцеловал нас (чтоб не испачкать), пошутил, показывая на своё лицо: «Был бы камень — давно стёрся бы.. А кожа всё выдерживает». Разговаривал с нами, рассказывал новости — творческие и домашние — познакомился с Люсей... Когда она сказала ему, что любая девушка может позавидовать его талии (в «Испанском» прожектор высвечивал танцора, стоящего в позе тореадора — и зал ахал от этой невымыслимо красивой фигуры и поразительной талии — 48 см), Махмуд сказал своё любимое: «У всех нормальных людей телоСЛОЖЕНИЕ, а у меня — телоВЫЧИТАНИЕ. Если бы вы знали, ребятки, как я хочу есть — я голоден всегда!» А ел, конечно, очень мало, почти НИЧЕГО — мы в этом убедились потом неоднократно, бывая на его приёмах в гостиницах, где он жил и собирал друзей после концертов — стакан мангового сока, несколько шпротин — и отварную кинзу в остром соусе — повар — его личный — ездил с ним во все гастрольные поездки... Хотя стол при этом всегда просто ломился от обилия вкуснейших яств...

А дальше произошло маленькое чудо... Дело в том, что Люся оказалась на этом концерте совершенно случайно — накануне я рассорился со своей девушкой, идти на концерт одному ой как не хотелось — вот и пригласил — чисто по-дружески, объяснив причину столь внезапного приглашения. Как говорится, безо всякой «задней» мысли. Она, конечно, согласилась — так же по-дружески — почему же нет? И вдруг, когда мы уже прощались, Махмуд сказал: «Дорогие ребятки! Из вас получится прекрасная семейная пара... Я вас благословляю!»

Мы в два голоса начала убеждать его, что мы — просто друзья и что «у нас ничего такого» (у Люси тогда был парень, чуть ли не жених, да и до этого мы делились всеми своими сердечными тайнами, доверяя и помогая друг другу). Варианты бывали интересные — то я был влюблён в её подруг — по очереди, конечно; то она — в кого-то из моих друзей, особенно расстроенная однажды, когда один из них, «онегинского» типа, совершенно не обращал на неё внимания...

Но Махмуд улыбнулся — светло и очень мудро как-то, и повторил: «Я вас благословляю!»

Если честно, мы по дороге немножко посмеялись над этой артистической причудой и не обратили особого внимания на слова Махмуда — просто на душе было очень светло после общения с ним...

И что вам сказать после этого? Вот уже 41 год, как мы с моей Люсей вместе идём по жизни, и — хотите верьте, хотите нет — ни разу за это время даже серьёзно не поссорились. А поженились через два года после бла-

гословения Махмуда... На свадьбе нашей он, правда, не был, но прислал очень тёплую телеграмму, которая до сих пор хранится в нашем семейном архиве. Потом уже, приехав на очередные гастроли, привёз роскошные подарки нашему сынишке...

И всегда приглашал нас — и обязательно с сыном — на концерт, и потом в гостиницу — часто на всю ночь. А однажды, рассказав при десятилетнем ребёнке весьма «солёный» анекдот, в ответ на возмущённый взгляд Люси сказал: «Пусть твой сын узнает ВСЁ ЭТО от Махмуда Эсамбаева — тогда никто и никогда не сможет испортить мальчишку!» И это его пожелание сбылось — и тоже очень точно — никакие уличные знакомства уже ничему лишнему не могли «научить» нашего первенца... И сын наш до сих пор вспоминает эти застолья с Махмудом — и всегда с улыбкой и благодарностью. И мы вместе вспоминаем тосты Махмуда — говорил он долго и цветисто, как все восточные люди — поднимался, возвышаясь над столом — в неизменной своей папaxe и помогая себе удивительно плавными и певучими какими-то движениями руки, начинал свой тост...

Но однажды Люся позволила себе сказать за столом у Махмуда тост. «Когда-то этот человек благословил нас, — сказала она, подойдя к Махмуду, — и после этого танцевал 15 лет... Так выпьем же за то, чтоб он благословил нашего сына — и после ЭТОГО танцевал ещё 30!» Махмуд просто растаял, многократно целуя мою жену — но ЕМУ я мог позволить такую вольность...

Последние годы я с Махмудом уже не виделся — мы уехали в далёкий Израиль, и уже там узнали, что умер и он, ненадолго пережив своих друзей — моих папу и маму...

Но свет от прежних встреч и нашего знакомства с ним остался в душе на всю жизнь — да будет благословенна его память...

Хамдам Закиров (Финляндия)

За городом

В далекой южной провинции — вечное лето. Дрожащая пленка спокойного полуденного пекла застит глаза. Оцепеневшая земля. Но зелень цветет, вернее, продолжает жить, замерев, сбавив яркость, чтобы стать неприметной для ангела смерти, который чувствует себя здесь как дома, впрочем, как и в любом другом месте. Морок бездействия над степью, пустыней, над всем, что проносится перед беглым взглядом солнечного луча. Только где-то в тени мелкий шорох, скрадываемый полутонами, или юркий всплеск воздуха, отмеченный боковым зрением (но, сколько ни приглядывайся — более ничего), намекают на существование чего-то, кроме мертвого пейзажа: на напряженных, затаившихся наблюдателей, фиксирующих каждый наш шаг, дающих оценку любому движению, будь то нервный жест руки или вытягивание затекших ног. Мы сидим под натянутым тентом — брезент, местами изъеденный плесенью и временем, с желтыми разводами от высохшей дождевой воды, прихваченный по краям белой проволокой, обмотанной несколько раз и затем аккуратно переходящей в спираль, венчающую подпорки, сделанные из просушенных тополиных стволов. На одной из них подвешен радиоприемник, на другой — лампа, облепленная пеплом мошкеры. Ножки стульев вминаются в утрамбованную землю, и можно видеть по аккуратным круглым вмятинам их прежнее местоположение. Несколько спичек, твой окурок и луковая шелуха, принесенная слабыми и короткими дуновениями от места, где готовят еду, портят чистоту этого выметенного участка, простирающегося, правда, недалеко — до того места, где гравийные катыши отграничивают по-бруковски пустое пространство от хаоса обочины, всегда нашпигованной мелким сором. Мы знаем, что на виду: кругом расстилается степной простор, отчасти холмистый, или пологий — иссеченный невысокими песчаными наносами. Наши зрители: тушкан, ящерка, скорпион, какая-нибудь пичужка — следят исподволь, оставаясь в стороне, всячески делая вид, что помимо пищи ничто им неинтересно. Но мы видим их взгляд: когда отрываемся от разговора, между глотками чая, сквозь сигаретный дым. Реальность проста, и, как солончаки, разбросанные белыми островками вокруг и напоминающие о весне и не растаявшем снеге на теневой стороне, напоминает она о себе насыщенной пустотой, в которой отдельные элементы выпячены жирными мазками, явно вышедшими за рамки общей, пассивной картины. Но их наличие согласовано, как ни странно, с этой топографической автаркией, с которой нам ничего не сделать: смотрим, сидим, пытаемся не изменить шанкаровскую медленность дня. К нам, в праздный уголок, подходит твоя мать с перекинутым через плечо кухонным полотенцем; сейчас заварю чай, говорит, скоро будем кушать, как вы здесь, не скучаете, говорит. Затем проходит твой младший брат — в рабочих, не по размеру штанах, и вид цветных трусов, торчащих над ремнем, нас смешит, как и его рэперские замашки, и

эта дань модному пару лет назад прикиду, особенно уморительные, когда он выводит коз и овец пастись, направляя их мимо нас с вычурной жестикой и «несносной разболтанностью», как выразился ваш отец, со словами, мол, что грустите, скоро вернусь. Тень сместилась: изогнутой диагональю, пошатываясь, улеглась она на столе. Ты взялся чистить яблоко, срезая кожицу тонкими кружками, как если бы непрерывность ленты была более важна, нежели содержимое — у Эшера, помнится, пустое. Лето скользит по коже прозрачной тканью легкого ветра, оставляющего нас позади, чтобы лелеять сухую колючку, остужать камень у бахчи, насиженный твоим дедом, чтобы сдунуть лист, укывший нору полевки, прошелестеть вокруг тополя и вернуться, чтобы погасить спичку, которую ты только что зажег. Как прекрасно безделье! Как, скажи, слиться нам с кремнеземом, с редкой влагой, с обильным солнцем? У нас кончились сигареты, и больше нет слов, и, закрыв глаза, видишь все то же — синее влажное небо, сухие перышки облаков, ангелов, отдыхающих недалеко и сонливо поглядывающих в нашу сторону, и других ангелов, отложивших крылья, занятых повседневными делами и не понимающих наши заумные фразы, и вот, слышен голос одного из них: хош, болалар, овкат тайер, кани келинларчи *.

* «Еда готова, ребяточки, идите-ка кушать» (узб.).

Елена Лапина-Балк

(Финляндия)

Лицо голода

Памяти отца

Из эвакуации в Ленинград мы вернулись осенью 1945 года. Это было время, когда еще не все сумели получить разрешение на въезд в город, но нам разрешили, потому что мать работала на оборонном предприятии. Как часто последнее время я видел Ленинград во сне: дома со скульптурами, башенки, балконы, парки и скверы, таинственные широкие парадные и маленькие пешеходные мостики... В районе, где мы жили до войны, у мостов были веселые и даже смешные названия: Банный, Прачечный, Поцелуев, Львиный. С каждым связана какая-то интересная история. Никто из нас, ребят, например, не сомневался, что у Кашина моста когда-то и в самом деле ели кашу.

А теперь... Людей почти не видно, и дома кажутся уже не такими высокими, часть из них разрушена, вместо скверов — свалки. Любимые мною мосты заставлены ящиками, коробками... Театральная площадь, где было всегда так много киосков, перегорожена противотанковыми «ежами». А я-то мечтал: вернусь, побегу на Театралку и куплю в киоске, как бывало, вкуснейшее фруктовое мороженое, такого малинового цвета... а потом побегу в бывшую Филимоновскую булочную, где в витрине лежали круглые буше и длинненькие эклеры в глазури. Вкус этих пирожных за годы эвакуации я подзабыл, а французские названия ни за что. Приятно было шегольнуть перед деревенскими знакомыми: «Скажите, вам буше или эклер попробовать не доводилось?»

И еще, что бросалось в глаза, — было как-то пустынно.

Все военные годы я провел в Калининской области у деда с бабушкой. Так и звал: дед Алексей и бабушка Дуня, потому что все их так называли. Сказал бы «бабушка», «дедушка», на меня бы подивились. В деревне моих ровесников было мало, в основном малышня пузатая. Хотя пузатой она была от крапивы да лебеды. А мне, десятилетнему ленинградскому мальчику, хотелось иметь товарищей, хоть немного похожих на дворовых друзей с улицы Декабристов. Тогда у меня и в мыслях не было, что уже навсегда потеряно то, чем бессознательно дорожили мы до войны, — беззаботное счастье детства. Я думал, что деревенская пора моя продлится недолго, и скоро мы опять встретимся с Васькой и Петькой Родионовыми из 5-го подъезда, с Пашкой Краченко из 53-й квартиры, с Толиком Лапиным, у которого отец служил в кремлевской охране, ну и, конечно, с Кауфманами...

Каждый из ребят нашего двора имел свою историю, может быть, на половину выдуманную, но ведь это не важно, главное интересную. Вот, например, Васька и Петька хотели стать военными, потому что их дед был командиром Красной армии и дал слово самому Чапаеву, что его внуки Васька и Петька тоже пойдут в командиры. У Пашки родня жила на Украине, а это «сказочный теплый край», и, когда Пашка возвращался оттуда после лет-

И тут я вспомнил: это же колдунья Зоя. Конечно, никакой колдуньей она не была, а, как говорила тетя Роза, травницей, но нам, мальчишкам, интереснее было считать ее именно колдуньей. Какая же она стала старенькая... И как ее называть — бабушка Зоя, тетя Зоя или, как раньше, — просто Зоя?

— Зоя, я хотел... — начал я смущенно, — а где Кауфманы?

Услышав мой вопрос, Зоя, как мне показалось, постарела еще больше. Она приоткрыла дверь шире и пригласила:

— Ты, Алешенька, проходи, чего тут на сквозняке стоять.

Она усадила меня за стол и налила чашку своего знаменитого чая на травках и почках. Сколько раз я вспоминал его в деревне, все просил бабушку Дуню сделать мне такой же. Но у нее такого не получалось. Голос Зои звучал приглушенно, словно издалека. Но для меня удивительным образом все, о чем она рассказывала, приближалось и оживало.

— Уже к сентябрю сорок первого, когда настала блокада, двор совсем опустел. Кто на работу уже не ходил, сидели по квартирам. Ну, а кто работал на оборонных предприятиях или в больницах, уходили засветло и возвращались поздно ночью, если вообще возвращались. Иногда днем я слышала на лестнице детский топот — это Глаша из 38-й со своими пятилетними двойняшками Сашей-Машей (их все так и звали «Саш-Маш») шла к себе в библиотеку. Ей не с кем было оставить девочек. Но скоро и Глаша перестала выходить из квартиры. Наш доктор Самуил Ефимович сутками пропадал в больнице. А когда изредка появлялся, чтобы поспать хоть несколько часов, так от усталости, бедный, не мог по лестнице подняться. Тогда, рассказывала мне Роза, Фимочка выбегал его встречать. Помогал добраться до квартиры, раздеться и доводил до дивана. И все почти молча: говорить уже не было сил.

А вот первые из нашего двора, к кому постучалась смерть, оказались Крыловы. Помнишь Митю, какой это был улыбчивый и добрый мальчик? Ему исполнилось 16, и его взяли в молодежный отряд ПВО. Они помогали взрослым тушить на крышах зажигательные бомбы. Там Митя и подорвался. Горевали, конечно, все, как по родному. А потом, Алешенька, было столько смертей, что уже и не плакали — слезы кончились.

Мы пили волшебный Зоин чай, и под ее горестный рассказ я все больше погружался в ледяной ужас первой блокадной зимы.

— В начале ноября умер наш доктор Самуил Ефимович. Ему было всего 56 лет. У него оказалось больное сердце. Тогда вечером я зашла к Розе, принесла настойку шиповника, и она сказала по секрету, что у Фимочки тоже врожденный порок сердца. Посидели, помянули Самуила Ефимовича.

Становилось все голоднее, тяжелее, уже каждый лишний шаг давался с трудом, и виделись мы только в очереди за хлебом на Театральной площади. Роза уже только с Фимочкой могла на улицу выйти. В последнее время совсем стала плохо ходить. Знаешь, Алешенька, бывало брела я потихоньку до булочной, разглядывая, словно в первый раз, улицы и дома Ленинграда и думала: какой же он красивый, наш город! И как не хотелось с ним расставаться. Оно и понятно — умирать-то кому хочется. Отвлекаясь от печальных мыслей, останавливалась у памятника Глинке. Его почему-то не стали укрывать и маскировать от бомбежек. Глинка сидел под огромной снежной

шапкой и казался сгорбленным, мрачным. Я заставляла себя вспоминать его музыку. Это было одно из моих «лекарств» для выживания, я их придумывала много. Например, арию Сусанина из оперы «Иван Сусанин» — «Ты взойдешь, моя заря?». Во мне звучала эта трагическая и героическая мелодия, и ожидание в молчаливой очереди обессиленных людей становилось не таким уж тягостным.

Декабрь стоял очень холодный. В квартирах, где были старые печки, их топили сначала книгами. Потом стали разбирать мебель, паркет. Перед тем как выйти на мороз, мы надевали на себя всю теплую одежду, какая только имелась в доме. Поэтому, встретившись на улице, люди, закутанные до глаз, часто не узнавали друг друга.

Как-то в начале декабря я спускалась по лестнице, цепляясь за перила. Ослабела, как и все, от голода, стала ко всему безразличной.

Где-то наверху хлопнула дверь. Кто-то, проходя мимо меня, остановился. В голове мелькнуло: это Фима. На нем было Розино пальто, голова замотана ее теплым платком. Фима очень вытянулся. На худом лице выделялся горбатый тонкий нос. Он взглянул на меня пустыми глазами и еле слышно произнес:

— Мама вчера умерла.

Резко отвернувшись, Фимочка побежал вниз по лестнице. Его плечики дрожали, он тихо плакал.

«Горе-то какое, — подумала я, — мальчик ведь совсем один остался».

Слушая Зою, я настолько явно представил все, о чем она рассказывала, что услышал всхлипывание Фимки и слабое причитание Зои на ледяной лестнице, ее голос зазвучал как закадровый. Я будто смотрел фильм и видел все происходящее в подробностях, как будто сам мерз тем декабрьским днем. Мне так же страшно хотелось есть. Я словно стал Фимкой Кауфманом и почувствовал его глубокое одиночество, усталость, растерянность и невыносимую душевную боль — мама умерла. Но я переживал и за Зою, ощущал ее слабость, голодную немощь, тихое сострадание. А она продолжала рассказ.

— Вечером того же дня я долго звонила в дверь Кауфманов, но никто не открывал. Я знала, что Фима дома: из-за двери доносились звуки пианино — Фимочка играл полонез Огинского. Позже кто-то из соседей в хлебной очереди рассказывал, что видел, как Фима тянул через покрытый льдом Львиный мостик тяжелые салазки. Все уже знали, что Розы не стало.

В конце декабря обрушились страшные морозы до 45 градусов, но люди все так же занимали очередь за маленьким кусочком хлеба в 125 граммов и стояли часами. Внутри булочной помещалось не больше десяти человек, остальные мерзли на жестоком холоде. Все теперь были на одно лицо — серое, измученное, ничего не выражающее, на нем тускло загорались глаза только тогда, когда приближался прилавок с хлебом. Это было лицо блокады.

В очереди я стояла за Глашей и видела, как она протянула три карточки: одну взрослую и две детские. Получив три прямоугольных кусочка хлеба, два из них она сразу же положила во внутренний карман пальто.

— Это для Саш-Маш, — сказала она.

Держа на ладони третий кусочек хлеба, она вышла из полутемной булочной на улицу. «Надо хоть посмотреть на него». Не могла Глаша есть свою пайку, видя голодных девочек.

Я терпеливо ждала, пока она отдышится. Возвращаться домой вместе, хоть и молча, было как-то теплее, что ли.

И тут перед нами возник Фимка. Он смотрел на Глашу, но, казалось, не видел ее. Глаза его были милыми и ласковыми, как в детстве. Я ведь его с рождения хорошо помню. Мальчик будто с кем-то разговаривал...

Зоя тяжело вздохнула, а я вдруг будто услышал, с кем разговаривал Фимка, ведь я уже прежде слышал и эти слова, и этот голос.

— Ешь, сыночка, ешь масонька. И что ты у меня худенький такой? — тихо приговаривала Роза.

— Мама... мамочка... какая ты у меня хорошая, самая добрая. И ребята так говорят. Ой, как хлеб хорошо пахнет..., — шевелил губами Фимка.

Тонкой дрожащей рукой он аккуратно взял хлебный кусочек с Глашиной ладони и странно чуть кивнул головой, будто благодарил. Повернулся и медленно пошел... Потом побежал.

Глаша от удивления и ужаса открыла рот, но смогла проголосить только: О-О-ОЙ!

Немая заледенелая очередь вдруг всколыхнулась.

— Вор! Антихрист! Держи его!..

Несколько изможденных женщин и мужчин отделились от стены и ринулись догонять мальчика. Глаша не могла тронуться с места...

— Это же Фима, Розин Фима, — как могла, крикнула я погоне.

— Да что же это! Фимочка, ведь я же это для девочек... — почему-то начала объяснять Глаша.

Не было труда догнать Фимку, даже едва плетущимся людям, да он уже и не бежал, а так... будто плыл...

Зоя прервалась и внимательно на меня взглянула, словно сомневаясь, можно ли мне рассказывать дальше. Видимо, уж больно странно я выглядел. А как мне было выглядеть, если я уже давно с замиранием сердца смотрел то страшное кино и, мучаясь, участвовал в нем.

— Кто-то из преследователей толкнул Фимку в спину, и он легко упал лицом в чистый снег. Сил бить его ни у кого не было, люди вдавливали и вдавливали мальчика в мягкий белый морозный пух ногами и тихо приговаривали:

— Вор... у кого решил украсть...

— И не совестно ведь...

— Убежать вздумал... От нас не убежишь...

Я почувствовал, как Фимке сначала сильно стиснуло грудь, а потом он ощутил прикосновение теплых рук матери. Она обнимала сына и нашептывала:

— Ну, вот мы и опять вместе, масонька мой.

И ему стало очень легко, тепло, есть совсем не хотелось и сделалось радостно...

Как сквозь стену я услышал Зоин голос.

— Подбежали мы с Глашей и, расталкивая всех, кинулись к Фимке. Глаша уговаривала людей:

— Ну что вы, нельзя же так, он же совсем еще мальчик, наш Фимочка...

Толпа отступила. Я перевернула Фиму на спину, стерла с лица снег..

Голубые глаза его были широко раскрыты и неподвижны. В них застыла детская радость. А хлеб лежал рядом, он к нему и не прикоснулся. Может,

не успел. Я отдала Глаше этот кусочек, смотрю, она еле на ногах стоит и все приговаривает:

— Как же так, он совсем еще мальчик...

Чайная ложечка со звоном упала на пол. Я полез под стол и долго искал ее там, размазывая рукавом слезы... А потом, так и не вылезая из-под стола, спросил:

— Зоя, а кто его хоронил, ведь у них никого не осталось?

— Так, Алёшенька, тогда ведь не хоронили. Завернули мы с Глашей Фимочку нашего в простыню, положили на саночки да потащили к месту, где всех умерших оставляли. Скользко было — жуть, чуть сами по дороге не умерли, хотя, кажется, и недалеко, тут — за Львиным мостиком. А когда машина этих несчастных забирала и куда, никто и не знал. И мы ждать не стали — не могли. Вот и не знаем, на какое кладбище увезли. Наверно, где-то в братской могиле... А ты, милый, чайку-то ещё попей. Ложечку я тебе другую дам, — и протянула мне под стол руку.

Мы молча пили чай. Я опустил голову: не хотел, чтобы Зоя увидела меня заплаканного. Потом она поставила на патефон пластинку. Раздались звуки печальной и мужественной мелодии.

— Это полонез Огинского, — пояснила она. — Фимочка любил играть на пианино. Помнишь?

Эпилог

Со времен войны прошло более шестидесяти лет. Мой юношеский роман остался недописанным. Это тогда я был уверен, что стану писателем, а сделался инженером, о чем ничуть не жалею. О друзьях детства почти ничего не знаю, хотя тогда, после войны, я пытался разузнать о них. Братья Родионовы остались в Казахстане. Пашка Ткаченко, говорили, погиб на Украине. Толик Лапин вернулся, и мы с ним еще долго дружили. Помню, он много лет еще волновался, слыша звонок межгорода: думал, отыскался отец — все надеялся. Он стал врачом. Кто бы из нас тогда в это поверил. Толик — да врачом. Но вот не стало и Толика. Теперь уж встречаться не с кем. Да и мой век на закате. Многое забыл. И только Зоин рассказ, ее голос, увиденный мной тогда оледенелый, убиваемый голодом город не забудется до конца. Она завещала мне пластинку. Иногда я ставлю ее на диск, слушаю и вижу терпеливую очередь за хлебом, падающего в снег Фимку, продолговатый сверток на саночках, который тянут две женщины через горбатый мостик, и маленький хлебный ломтик ценою в жизнь.

Сергей Ачильдиев (Санкт-Петербург)

Это было давно, а значит, вчера *(отрывки из воспоминаний)*

Этот дом — последний по Таврической улице. Рядом с городской водонапорной башней, в тупичке за Шпалерной, которую и в годы моего детства взрослые частенько называли именно так, а не улицей Воинова, как значилось на официальных табличках.

По утрам, после завтрака, мы собирались с бабой Катей — моей няней, маленькой сухой старушкой — в Таврический сад. Не вынимая изо рта папиросу «Звёздочка», она сажала меня на стоявший в коридоре сундук и начинала одевать. В это время звенел звонок: молочница из магазина, что на углу Тверской, принесла молоко. Баба Катя протягивала ей пятёрку, прижимала к груди запотевшую холодную литровую бутылку и принималась расспрашивать, что сегодня дают в магазине.

Потом, на лестнице, мы останавливались и разговаривали с лифтёршей. Старуха лифтёрша восседала на табуретке, прислонившись толстой спиной к железной шахте, и день-деньской вязала шерстяные носки для всего подъезда. За деньги, конечно.

Уже во дворе, мы встречали нашу дворничиху, женщин с детьми из других квартир... Дом был большой, в шесть этажей и на три подъезда, но все знали друг друга, потому что квартиры были коммунальными и люди привыкли жить, не сторонясь посторонних.

Моя племянница, которой я пытался рассказать о моём детстве, изумлённо спросила:

— Так у тебя что, была няня? Как у Пушкина?!

Да, была, но вовсе не как у Пушкина. В пятидесятых няни даже в небогатых ленинградских семьях встречались часто. После смерти Сталина, когда колхозникам, наконец, выдали паспорта, сотни тысяч крестьян ринулись из голодных деревень в большие города — на стройки, заводы, в дворники, уборщицы... А многие женщины — в прислуги и няни. Они готовы были вести чужой дом и ухаживать за чужими детьми с утра до вечера за самые скромные деньги — по сравнению с колхозными тяготами, за которые к тому же платили только палочками трудодней, эта работа казалась им отдыхом. А городское электричество, газ, горячая и холодная вода в кране, тёплый клозет, о чём деревня вообще не имела никакого представления!..

Вспоминать своё раннее детство трудно. С первой попытки — только чёрная пустота. И со второй, и с третьей... Словно попал внутрь куба, составленного из «квадратов» Малевича. Не видно ни зги, и нет даже никаких ориентиров.

Поначалу это пугает. Как же так, Лев Николаевич утверждал, что помнит себя ещё в пелёнках, и другие мемуаристы стараются от него не отставать. А у тебя — словно в домино: пусто-пусто!

Потому что ломишься в закрытую дверь. Попробуй обходными путями. Сперва постарайся вспомнить не себя маленьким, а то, что тебе рассказывали о твоём детстве родители, бабушки и дедушки, их друзья, когда ты стал более или менее взрослым. Разложи пасьянс из старых фотографий.

Прыгнуть в детство с места невозможно, тут нужен хороший разбег. Раз, два, три... —

...И вот, наконец, первое осознанное воспоминание.

Какой-то мальчишка во дворе меня обидел, и я прибегаю домой. Стою в коридоре и реву, а напротив стоят выскочившие на мой крик домочадцы. Я жаждал только одного — сочувствия.

Но тут кто-то говорит:

— Так ты бы дал ему в зубы! Пусть знает.

— Да-а!.. — захлёбываюсь я слезами сильнее прежнего. — А вдруг у него зубы больные?!

Я как раз тогда мучался молочными зубами и, хотя, наверное, ещё не слышал поговорку про то, что такого и врагу не пожелаешь, уже понимал её смысл.

А они, взрослые, не понимали! Они засмеялись. И первое, что я теперь вспомнил, — тот смех, и эту новую обиду, которая была во сто крат сильнее первой.

Мы играем с пацанами в пристенок. Ещё, само собой, не на деньги — на ушки: сплюснутые металлические военные пуговицы.

Вдруг откуда-то налетает мамаша мальчишки из соседнего подъезда:

— Я кому велела на коленках по асфальту не ползать! Да ты только погляди на свою физиономию! Как трубочист! — И тут она слюнявит большой палец и остервенело трёт им своего сына по лицу.

Меня всего передёрнуло. Но запомнилось не чувство брезгливости, а то, что я тогда подумал: «Хорошо, что я не у этой тётки родился!». Именно эта фраза.

Самого слова «фраза» я скорей всего тогда ещё не знал. Но уже тогда — и может быть, впервые — почувствовал: это что-то такое, что звучит и запоминается.

Двор моего детства. Обычный питерский двор, в котором никогда не бывает солнца. С высокой, до второго этажа деревянной горкой, с которой мы катались зимой на санках, а взрослые мальчишки — особый шик! — на ногах.

Наш двор казался нам огромным, как всегда в детстве кажется огромной вся будущая жизнь.

Здесь обитали первые мои товарищи.

Сашка Дед, бездельник и балбес, получивший свою кличку не только потому, что был вдвое старше всех нас, но и потому, что во рту у него красовалось всего несколько зубов — память о голодном блокадном детстве. Витька Трёхпалый: два пальца на правой руке ему оторвало привезённой

из-под Синявина трофейной «безделушкой». Валька Блинов, в один прекрасный день выскочивший во двор с радостным воплем: «Тарифы на газ отменили!». Слова «тарифы», я не знал, но весь его жуткий смысл открылся мне, когда Блин растолковал, что теперь они с матерью могут не тратиться на дрова для печки, а греться прямо из духовки.

Ещё я дружил с безногими инвалидами, которые передвигались, сидя на дощатых тележках, подбитых подшипниками. С самого утра они занимали место у ступеней, которые вели в магазин на углу Таврической и Тверской.

Когда мы с мамой или бабой Катей шли в магазин, я оставался у входа, на улице. Там было гораздо интересней, чем в духоте длинных очередей и нескончаемой ругани из-за того, кто за кем стоит.

Даже зимой инвалиды сидели с распахнутыми на груди шинелями — чтобы видна была грудь сплошь в боевых наградах. Тут разговоры всегда были о самом главном — о войне: о боях, героизме и предательстве, любви и смерти. Но когда к магазину подходил какой-нибудь мужчина, разговоры сразу смолкали. Здррав голову, один из инвалидов говорил:

— Земеля, не поскупись на ворошиловский паёк! Уважь защитников...

Они просили не подавания, а именно угощения, заслуженного и справедливого. И почти всегда им выносили бутылку водки, которую они распивали тут же, вытащив из карманов заранее припасённые граненые стаканы и горбухи хлеба в табачных крошках.

Но однажды калеки-победители исчезли с улиц. В одночасье. Будто всех смыло поливалкой. Как сказал дедушка, их вывезли за сто первый километр и заперли в домах инвалидов. Так и сказал: заперли. И слово это острой занозой впилося в детскую память навсегда.

Три раза в неделю мама возила меня на улицу Желябова, в частную группу, заниматься английским языком. На автобусной остановке всегда стояла очередь. Подходя, спрашивали, кто крайний, и какая-нибудь старая питерская интеллигентка непременно делала замечание:

— Надо говорить «последний»! «Крайний» есть и спереди.

Впрочем, на самом деле очередей было две. Старики и женщины с детьми входили через переднюю дверь или, как тогда говорили: с передней площадки, а все прочие в заднюю.

Автобусные билетки при выходе надо было выкидывать в привинченные у дверей круглые эбонитовые ящички. Если бросишь билетик на улице, мог подойти милиционер и, козырнув, потребовать штраф: пять рублей. Пять рублей — это по-старому, в шестьдесят первом после деноминации они стали полтинником.

Мне было десять лет, когда папа (так я привык называть отчима) — по великому случаю! — достал для меня дублёнку. Из-за тотального дефицита тогда очень часто говорили не «купил», а именно «достал». И сумевшего оторвать редкий товар называли «достоевским».

Дублёнка была исключительной редкостью. Настолько, что я даже сегодня помню — это была не просто коричневая дублёнка, а *румынская* дублёнка. Другими словами, вещь импортная и потому обладавшая высшей ценностью.

Появление дублёнки превратилось для взрослых в настоящий праздник. Они разглядывали её со всех сторон, как заморскую диковину. Восхищённо гладили ладонями, чтобы убедиться, какая она чуть-чуть шершавая снаружи, какая нежно меховая изнутри и насколько ровно прострочены швы.

Поначалу я тоже был захвачен общим восторгом. Ещё бы, ведь старое пальто, из которого я уже вырос, давно превратилось в перденчик. Под мышками жмёт, пуговицы на груди перешиты к самому краю, рукава короткие — почти как на летней бобочке.

Но когда, наконец, меня облачили в обновку, радость мигом исчезла. В такой одежде можно было пойти в театр, в гости, на новогоднюю ёлку, чинно прогуливаться со взрослыми по улице. Однако для повседневной мальчишечьей жизни она совершенно не годилась. Эта *дорогая импортная вещь* (ещё одно устойчивое выражение тех времён) доходила мне чуть не до пят, обшлага закрывали ладошки, и вся она стояла колом — не повернуться, не присесть. Как же в этом скафандре кататься с горки, бегать на коньках, играть в ушки?..

Взрослым я, само собой, ничего не сказал. Всё равно не поймут. Однако уже на следующий день мои тайные опасения сбылись самым плачевным образом.

Ночью ударил приличный мороз, а потому в школу меня отправили в обновке. После уроков мы с мальчишками завернули в Таврический сад и стали играть в пятнашки. Всё было в порядке до тех пор, пока я, убегаю от водящего, не решил перелезть через ограду. Конечно, я прекрасно помнил, что мама мне сто раз строго-настрого наказала быть аккуратным и беречь дублёнку, но эта ограда у меня была сто раз лазаная!.. Сперва левой ногой на витую приступочку, слегка подтянуться на руках, потом правой ногой на самый верх и, уцепившись за пику ограды, — прыг! — вниз, на улицу. Каждое движение было отработано до автоматизма. И я взлетел на ограду, и прыгнул... И — повис на пике, зацепившись за неё подолом. Я не учёл, что дублёнка намного длиннее моего старого привычного пальтишки.

Мальчишки моментально перепрыгнули через ограду и окружили меня. Никто не смеялся. Все сочувствовали, понимая, что дома мне теперь мало не будет. Они пытались приподнять меня, чтобы снять подол с кончика пики, но у них не хватало силёнок. Тогда кто-то предложил подсунуть мне под ноги наши портфели, чтобы я вскарабкался на них и стал выше. Но портфели, положенные один на другой, разваливались у меня под ногами. Тут же возникла ещё одна идея: вместо портфелей соорудить снежный ком...

Спасение пришло в виде двух проходивших мимо военных курсантов. С хохотом они подняли меня выше садовой ограды и освободили из позорного плена.

В тот день мама стегала меня рёмнем в первый и последний раз в моей жизни. Было немножко больно, но нисколько не обидно. Я знал: за дело. Ведь в нашей советской стране всё материальное было ценностью самой высокой пробы. Пальто, даже воротнички на мужских сорочках перелицовывали, носки штопали по несколько раз, потеря галоши в трамвайной толчее граничила с трагедией. Да что там одежда, обувь или домашняя утварь! Ценой собственной жизни лётчики спасали неисправные самолёты, шофёры — падающие с отвесных гор грузовики, комбайнёры — горящие

поля пшеницы... Их объявляли героями, славили в газетах и удостоивали посмертных наград.

За все годы советской власти мы были первым поколением, которое выросло в более или менее благополучных условиях. Нас не морили голодом, не сажали в лагеря для детей «врагов народа», мы не знали бомбежек и арт-обстрелов, на нас не ставили клейма «находился на оккупированной территории», нам не приходилось работать на военных заводах по двенадцать часов в смену без права увольнения...

Впрочем, это относительное благополучие имело одну оговорку: оно распространялось только на детей из крупных городов.

Семён Климовицкий

Москвич, живущий в Австралии, жил в Италии и Новой Зеландии, и все подолгу («жил в Одессе, бывал в Крыму...») Стихи, проза, юмор, переводы. Печатался в «Литературной газете», «Литературной России», «Русской Мысли» (в Париже), многих австралийских изданиях...

Лауреат конкурса «Золотое перо Руси».

Живет в Мельбурне.

Поговори со мной...

Плохо душе одной
В доле ее земной
Негде ей взять тепла...
Поговори со мной...

Негде ей взять тепла
Жизнь по рукам стекла
Как вода со стекла
В холод ли, в летний зной
Негде ей взять тепла...
Поговори со мной.

Стонет душа. Болит.
Холодно ей внутри
Что с ней — не говорит
Ты с ней — поговори

.....

Поговори со мной
Поворожи беде
В холод ли, в летний зной
Горек ее удел

Поговори, поплачь
Все — на одной струне
Весточку ей послать
Издалека, извне
Тяжкий ли это труд?

Скоро душа во мне
Канет, как камень в пруд
Жизни моей земной...

Поговори со мной.

.....
 Стерты ее крыла
 Плохи ее дела
 Вперила взор в тупик
 Жизнь была да ушла

Памяти сладкий яд
 Прошлого не продлит
 Вот она и болит
 Что с ней — не говорит
 Кто с ней поговорит ?

.....
 Что она есть — душа?
 Жалкий комок в горсти
 Строчка карандаша
 Господи ей прости
 Горестный воробей
 Перья ни в склад, ни в лад
 Вся-то жизнь в ворожке
 А оступился — ад

Что она есть — душа?
 Светоч в Вселенской тьме
 Сделав неверный шаг —
 Снова в зиме, в тюрьме,
 Пытки твоей земной...

.....
 Поговори со мной.

2002

Отстранись...

Отстранись от убогой своей кутерьмы
 От страданий души посредине зимы
 От посланий в надежде, волшбы и божбы
 От с собою самим безнадежной борьбы

Отстранись и узри —
 Все проклятье — внутри.

А когда по снежку побежит чудодей
 Отпечатав свой след в середине людей
 Открестись от него и от лба своего
 Чтoб понять наконец, что довольно всего

Хоть и было дано
Да пропало давно.

Вот и страждай в безмерной своей пустоте
Вот и жди — что она принесет на хвосте
Балаболка-душа после странствий впотьмах
Понабравшись досыта в чужих закромах...

Но и падая вниз —
От себя — отстранись.

Пес 11.04.2007 13:36

Человек, которого было много
Превратился в хромую собачью ногу
Вот какой конфуз и метаморфоз

Человек, которому было мало
Плачет, когда ничего не стало
Когда его сдуло с пьедестала
И как пса — на мороз

Человек умрет, на куски распавшись
Но сначала вспомнит тобой пропахший
Теплый воздух — и страшный букет опавший

Дверь наружу — и низкого дуба длань
До конца умрет, до конца не зная
Был ли он в аду иль в преддверье рая
Как свеча по капельке догорая
И не понимая, что дело дрянь

Ах, подружка, душа, что твоя заноза
Все саднит, видать от метаморфоза
Как нам быть, когда ни на шаг без спроса

Ни в мозгах пошарить, ни сердцу внять
Ах, подружка, когда мы поврозь да молча
Нет судьбы для нас ни людской, ни волчьей
Так помрем с тобой, и куплет не кончив
Про того, что нету и негде взять

Человек, которого стало мало
Не поймет, что жизнь его доломала
Он хромой ненужной ногой собачьей
Будет вечно в сердце, как гвоздь, торчать

Ты поплачь, подружка, а я повою
По веселым дням да по нам с тобою
И приткнусь повинною головою
Ко стопам твоим, чтоб не закричать

Из цикла «Животные», 1996

Бабочка

1.
Бабочка ночью в доме
трепетала крылами
Что происходит меж нами
и почему?

Бабочка, птица, душа
Полно метаться в полночи
Знал бы, чем горю помочи
Сам бы взлетел не дыша

Крылья в огне опалив
Канешь во тьму понемногу
Небу да Господу Богу
Часть от себя отделив

Что наступает потом
В той темноте несомненной?
Есть ли Господь у Вселенной
В этом пространстве пустом?

Смерть — не последний предел
Что там — за крайним порогом?
К небу да к Господу Богу
Ночью вопрос отлетел

2.
Лазарь лежит неживой
Марфа с Марией хлопочут
Лазарь воскреснуть не хочет
Сияясь понять — для чего?

Лазарь лежит неживой
Марфа с Марией хлопочут
Хочет он встать иль не хочет —
Все решено за него

Лазарь лежит неживой
Марфа с Марией в надежде

Смотрят на сомкнуты вежды
ждут непонятно чего...

3.
В этом полночном гробу
Сердце протянется к сердцу
Свет через плотную дверцу
Болью раздастся во лбу

Се, между нас, в пустоте
Нити невидимы реют
Связи волшебные зреют
С небом и Тем, на кресте

С Марфой, Марией, с тобой
С Лазарем мертвым на ложе
С бабочкой падшей— и позже
С некой звездой голубой

С ангелом светлым в окне
В очи печально глядящим
С бедной душой, уходящей
Прочь от спаленной в огне.

Александр Мельник

Родился в 1961 г. в Молдавии. Окончил Московский институт геодезии и картографии (по специальности «морская геодезия»). С 2000 года живет в Бельгии, в Льеже. В 2005 году стал финалистом международного поэтического турнира «Пушкин в Британии», состоявшегося в Великобритании. Лауреат международного поэтического конкурса «Я ни с кем никогда не расстанусь» в 2007 году. Автор проекта и председатель оргкомитета международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира» (<http://www.emlira.ucoz.com>).

Публиковался в поэтических сборниках и журналах России, Латвии, Бельгии, Великобритании, Израиля и Финляндии.

Письмо римского патриция

Не ругай, брат Корнелий, вчерашние наши невзгоды!
 Всё больём поросло, критиканы сидят в кабаках.
 Дети смутного века на хлеб променяли свободу.
 Журавлю повезло — нам хватило синицы в руках.

Мудрый Кесарь во имя плебеям неведомой цели
 царство духа на время прикрыл на амбарный замок.
 Выпьём кьянти, привычной от тягостных дум панацеи,
 и вакханке на ушко тирана ругнём под шумок.

Всё у нас поменялось — и цели, и цены, и цепи...
 Не поверишь, но мы и не чувствуем этих цепей.
 То придёшь в Колизей, то опустишься в темень вертепа.
 Главный лозунг — молчи, заколачивай деньги да пей!

Что мятущийся дух и неясный туман идеалов?
 До скончания века успеть бы вкусить бытия!
 Нам сестерциев малость из римской казны б перепало,
 да в судейских законах для нас не нашлась бы статья!

В царстве Кесаря главный закон — не попасть за решётку.
 Дела нет мне, Корнелий, до всяких запретных свобод.
 А засим не вопи за бугром, эмигрантская глотка!
 Твой по матери брат, а по зову страны — патриот.

Усмехается грустно Конфуций...

Рано утром разбудит не кочет,
 не извозчик подъедет, как встарь.

Заскрежешет вокруг, загрохочет,
в нос ударит машинная гарь.

По ушам пробегут децибелы,
лишь с опаской шагнёшь за порог.
Белый свет — лишь в преданиях белый,
потому что над городом — смог.

Взятый в круг уравнений и функций,
прежний мир усложнился в разы.
...Усмехается грустно Конфуций.
Подавляет зевок Лао-цзы.

Волосы Авессалома

Завидная была планида —
трёх женщин обнимать за раз
да голосу царя Давида
внимать, не поднимая глаз.

Не выгорело... За жар-птицей,
советникам наперекор,
я ринулся через границы,
в дворце произведя сыр-бор.

Удела своего владыка,
теперь не опускаю взгляд.
Мне, сбившемуся с панталыку,
плевать на всех царей подряд.

Но после моего разгрома
в отцовских протрубят шатрах
про волосы Авессалома,
запутавшиеся в ветвях...

Метаморфоза

Снег оживил природу за полчаса,
вызвав у губернатора нервный кризис,
у стариков — надежды на чудеса,
а у детей — безудержные капризы.

Бельгия, брат, не Лазарь, она — мертвей,
если считать по душам, а не по лицам.
Здесь обыватель в большем живёт родстве
со стариком Морфеем, чем с Синею птицей.

Это тебе не шумный степной улус,
где что ни день — хурал или потасовка.
Царство теней... Но с облака, как Иисус,
тихо спустился снег, и в мгновенье ока

морфий утратил силу, а скука — власть.
Город воспрял от быстрой метаморфозы,
словно в густую кровь, что едва текла,
кто-то вкатил смертельную овердозу.

* * *

О, сколько раз, покрывшись толщей льда
в очередной сезон оледененья,
я укрощал сердечное биенье
и говорил, что страсти — ерунда.

Но каждый раз топило ледники
с любимых губ сорвавшееся слово,
и сердце билось и болело снова
наросту ледяному вопреки.

Екатерина Горбовская

Родилась в Москве. Училась в Литературном институте им. Горького. Печаталась в журналах «Юность», «Литературная учёба», в альманахе «День поэзии» и различных периодических изданиях, поэтических сборниках и антологиях («Московская муза 1799—1997», «Строфы века», «Русская поэзия. XX век» и др.). Автор двух поэтических сборников: «Первый бал» (Москва, 1982) и «Обещала речка берегу» (Москва, 2003). С 1991 г. живёт в Лондоне.

* * *

Утро вечера мудренее —
 Но дряннее
 И длиннее.
 Утром вечера —
 Словно не было,
 И не спрашивать
 больше «Где была?»
 Я во сне была —
 Там Вас не было.

* * *

Вот была б я молоденькой, худенькой —
 Я б такие носила платица!
 А тут в зеркало глянешь — Господи!
 Ну, на что тут, скажите, тратиться...

А с тех пор, как между нами всё кончено,
 Мне повсюду мерещатся белочки,
 Тараканы и всякие прочие
 Быстробегающие мелочи.
 И я даже была у доктора.
 Доктор выслушал — и расстроился,
 Говорил мне про симптоматику,
 И про то, что за этим кроется...

Вот была бы я старенькой, кривенькой —
 Я взяла бы тебя на жалость,
 Я б схватила тебя,
 Тряслась бы вся —
 И держалась, держалась, держалась...

* * *

Погода такая, что хочется сдохнуть.
А водка такая,
Что хочется жить,
И встретить мужчину,
И, тронув за локоть,
Сказать: «Кучерявый, давайте дружить!»

* * *

В полнолуние люди бесятся,
Людам надобно полумесяца —
Там уляжется всё, уложится —
Всё, что хочется, но не можетя,
Всё, что можетя, но не хочется,
Чтобы ночью спать — не ворочаться,
Чтоб не шарил взгляд — где б повеситься.
Ах, дожить бы до полумесяца!

* * *

Я всё поймать хотела взгляд,
А он скользил за вырез блузки.
Вы мне сказали: «Я там рад...» —
А так не говорят по-русски,
И не касаются рукой
Чужих, ненужных Вам коленок...
И что за взгляд у Вас такой —
Вам как — из горла иль из вены?
...Когда б мы не были «на вы»,
Вам не сносить бы головы.

* * *

Лизе

Ты думаешь, что если ты летаешь,
То и все летают — ан нет!
Летают только глупые и добрые, мой свет.
А чтобы, вот, за художника,
Да ещё за еврея —
Тут надо бы осторожненько,
Это — как лотерея...
А если и он летает —
Опаснее не бывает.

* * *

Лизе

Она была прекрасна и чиста,
И были высоки её полёты,
Она читала Моцарта с листа
И думала, что Моцарт — это ноты.
Она брала волшебный свой смычок
В прекрасные, поставленные руки,
Она играла Моцарта — как Бог
И думала, что Моцарт — это звуки.

Вот скрипка. Сцена. Вот она сама.
И зал — как души спасшихся из ада.
Она сводила публику с ума
И думала, что так оно и надо.

* * *

Я любила бы овощи — если б только не брокли.
Я любила бы дождь — если б ноги не мокли.
Я любила бы лето — если б так не потелось.
Я любила бы Вас,
Если б так не хотелось...

* * *

...А на заднем плане — цыгане,
И цыганки — Груни да Мани
Вам подарят любви и взгляда
Ровно столько, насколько надо,
Но посмотрят на вас, не видя,
И в глазах лишь одно: «Изыди!»
И плевать им на ваши слюни —
Они гордые, Мани и Груни,
И судьба у них — тёмный омут,
И у каждой в кармане — ножик...
Вам бы лучше идти до дому
И не трогать их грязных ножек.
Вам же нужен души кусочек,
А душа там — совсем другая:
И не то чтоб чернее ночи,
А заглянете — испугает,
И захочется вспомнить Слово
И раз двадцать перекреститься...
Если батюшка не суровый,
То вам это потом простится.

* * *

Мне кошка вслед кричала: «Дура!»
И пыль слетала с абажура,
Когда я хлопала дверьми:
Ты этого хотел? — Возьми!
Меня крутило и вело,
И я искала помело —
Нашла. Слетала. Помогло —
И отошло, и отлегло...

И нам ли, милый, быть в печали —
Цветы и ужин со свечами...
Хотелось жить, хотелось петь,
Хотелось лечь и умереть.
И слёзы капали в вино.
А свечи гасли. И темно...

Соседка знает за стеной,
Что мы живём как муж с женой.

Татьяна Юфит

Родилась в Томске, с 1998 г. живёт в Лондоне. Стихи публиковались в сборниках, изданных в Москве, Томске, Лондоне, Тель-Авиве. Финалистка двух международных поэтических турниров «Пушкин в Британии». Автор книги «Я сменила три земли».

* * *

День в августе еще лучист, но — невесомый —
Слетает первый желтый лист, танцуя соло.
Один — покуда хоровод багряных братьев,
Зимы приветствуя восход, игру подхватит.

И — танцовщицей рождена — на небе сонном —
Светла и медленна — луна танцует соло.
Кружиться миллиарды лет — как это просто,
Когда вокруг кордебалет — сплошные звезды!

Ловя причудливый узор фантазий лунных,
Ведет о Вечном разговор смычок на струнах.
На миг мелодия замрет, чтоб взвиться снова.
Танцую день, танцую год. Танцую соло.

* * *

Ты хочешь лжи? Я не щедра.
Прости за это неуменье.
Мне покажи, кто «нет» и «да»
Сведет в единое мгновенье!

Попробуй, разожги огни
На глади водного мерцанья
И знак вопроса разогни
В стрелу прямого восклицанья!

Возьми и радугу повесь
В ночи, где солнце не гуляло,
И назови любовью спесь,
И начинай опять сначала

Ждать лжи — бальзамом для души —
Лекарство странное из странных.
Не все бальзамы хороши,
Не все залечивают раны.

* * *

Голос пропал — не пела.
Где же была ты, птица?
Что же ты улетела
От ключевой водицы
В клетку? — Опали крылья,
Дни не листает ветер,
Солнечные, тугие,
Не обнимают ветви.
Звезды в окошко — пеплом
Выгоревшей свободы.
Голос пропал — не пела
Годы.

* * *

Памяти Л. Ф.

Жизнь — театр. Спешат актеры —
От студента до премьеры,
Ведь идея режиссера —
Ежедневная премьеры.

Нет часов для репетиций,
Каждый миг — с листа, и точка!
Надо ж гением родиться,
Чтоб сыграть легко и точно!

Надо ж гением родиться,
Чтобы хлопала галерка
В белокаменной столице,
В фешенебельном Нью-Йорке.

Чтоб лицо в любые лета
Отличалось от личины,
Чтобы верила планета:
В мире есть еще мужчины!

А когда последний вечер
Тихо занавес опустит —
Задрожат невольно плечи,
Станет холодно и пусто.

Два крыла вдали растают,
Вслед им ветер будет плакать.
Два цветка в моем стакане,
Два цветка: любовь и память.

Миг

Пусть на пороге бабье лето —
Сошью с оборкой сарафан.
Неярким солнышком согрета,
Поверю в сладостный обман,

Что, мол, «все возрасты покорны...» —
И сердце настезь — для стиха.
На миг взревет шальные горны —
И вот уж ночь идет, глуха.

Но бесконечно будет сниться
Мне сон один, в котором миг
Раздвинет времени границы
И будет царствовать, велик.

* * *

Неписательский сезон —
На ночевку сели птицы.
Их прикрытые ресницы
Убаюкивает сон.

Неписательский сезон —
Погрузившись в темень ночи,
Ускользящий, непрочный,
Им приснится горизонт,

Поднимающий рассвет,
Как птенца — легко и нежно.
Не смыкает век надежда,
Даже если спит поэт.

Лео Гимельзон

Лауреат, призёр и дипломант ряда международных поэтических и прозаических конкурсов. Автор около двадцати поэтических сборников и публикаций в антологиях.

Прозаик. Пишет научную фантастику, фэнтези и сказки.

Живет в Мюнхене.

Язычники

Нет, это не альтернатива, а её отсутствие: курсы немецкого языка в Германии.

Когда-то не изучавшийся разве что в детсадах и яслях, он вместе со своими носителями полностью и безоговорочно капитулировал даже в научных журналах с немецкими обложками.

За полвека до въезда мне вполне хватило бы наличных «Хенде хох!», «Ахтунг!», «айн, цвай, ..., цен», вылетающих, как из автомата Калашникова, а дополнявшие внушительный языковой багаж «Гутен морген/таг/абенд!», «Данке!» и «Битте!» были бы архитектурным излишеством, развращавшим побеждённых.

На столь насыщенном немецком фоне мой далеко не шекспировский английский не только впервые показался, но и сначала оказался родным. Словно луч света в тёмном царстве, он вёл меня за руку по инстанциям («Как много в стольнерусском звуке для сердца русского слилось!») и улицам с названиями, иной раз таинственными даже для краеведов, съевших криво или прямо на них четвероногого друга.

Но и в былой стране мыслителей и поэтов читает того же Шекспира в подлиннике удивительным образом всё-таки не каждый продавец. Иначе не пришлось бы мне гладить обувь при покупке крема для неё и такими окрылёнными взмахами рук демонстрировать силу тяги к инсектицидам, убедившим, что и язык Древнего Рима вымер-таки даже в его былых владениях.

Но художественная самодеятельность меркнет перед языковыми курсами, более театральными, чем жизнь и сам театр. Именно в нём давала когда-то уроки правильной и выразительной, но какой-то не нашей немецкой речи одна наша преподавательница. Наверное, те актёры напоминали ей грациозных и, если ей известно, трепетных ланей, с которыми старые, как мы, кони не то что в одну телегу не впрягаются, но от потери самоуважения даже поговорку забывают и поэтому борозду портят. А мы если и выглядели, как кони, то исключительно как небывалые клячи, способные лишь пятиться назад, и это было вперёд!

А над нами — также над всей Испанией безоблачное высокое немецкое небо, где витал в вихре параллельно преподаваемых не нам латиноамери-

канских танцев ещё и наш учёный наставник, специалист и по испанской литературе. Жаль, не дождался он разлёта непарнокопытных птенцов из шестимесячного гнезда и дотанцевался-таки до вылета из страны потребителей зелья в производящую Колумбию президентом... школьной библиотеки.

Но лучше ли вросшему незыблемым дипломированным дубом в здешний серокаменный чернозём преподавателю, говорящему на 20 языках с коллегами... по подъёму мебели на высокие этажи без лифта? Одна отрада: пятый, как графа, русский называется четвёртым немецким, так что таскать здесь легче.

Зато рождённые ползать пусть и здесь не летают, но в каком седле на белом коне засиделись — закачаешься!

А у нас была своя свадьба. Если кто и делал в редких тестах частые ошибки, то зато его на частых опросах редко дёргали за язык, если, конечно, сам не дёргался.

Я же влюбился в удивительно логичный немецкий с первого взгляда... в академический курс грамматики Дудена. Правда, и днём с огнём не вижу смысла в назывании десятков многозначного числа в конце. Сами заварили эту кашу и ещё её, будто бы не зная, что кукушка наших курсов уже прокуковала их конец, усердно приправляют таким облегчающим новым правописанием, что и прирождённые немецкие кони дрожат от уверенности и то и дело спотыкаются, а нам, урождённым, с ними расхлёбывай.

«А в остальном, прекрасная маркиза...» — дисциплина зримее полиции. Архимедова точка опоры — вторая позиция сказуемого в повествовательном танце. Это на просторах СНГ можно вытанцовывать предложения даже дамам, как душе или куда чаще её отсутствию заблагорассудится.

Русские учебники немецкого упорно, из поколения в поколение, учат немцев смещению отрицательной частицы за предложный оборот в конец предложения для его полного отрицания, а те, неразумные, как хазары, до сих пор сопротивляются с упрямством и на их языке воспетых баснями ушастых четвероногих и так и лопочут по-своему, добросовестно заблуждаясь.

Но и русскоязычным есть чему поучиться. Оказывается, немецкая девушка — оно. Тем хуже для неё самой и её... нет, друзей, здесь в этом и рабочих характеристиках — сплошное дипломатическое расшаркивание для непосвящённых. Нет, она — это оно, надо срочно исправиться, пока не поздно, тем хуже для него самого и его друзей, — язык и тот ломается. А для нас и здесь наших таких женственных девушек — хоть завались. Не беда, что иной наш в доску конструктор немецкого и даже русского предложения русскоязычной смешнее Жванецкого, но только для тех, кто понимает.

А овцам и козам немецкой национальности предстоит бэкать и мэкать или мягче, или с умляутом. И где ещё пригодится родное украинское «гэ» тем, кто выдыхает не то, что нужно, а то, что может?

Становилось легче от анекдотов о демобилизованных воинах как абитуриентах. Одному было всё равно, какой иностранный сдавать, другой владел только одним языком, который во рту, но не знал, что такое «инос-

транный», зато грамотный третий — устным непечатным. Беззаботно смеяться здесь над этим можно было бы только от всей немецкой души, а наша заботливо грустила.

Но и медведя учат танцевать. И хоть мы немного чаще блистали незнанием изученного, чем знанием неизученного, почему-то не улыбалось быть косолапее тёзки реформатора...

И всё-таки как хорошо, что в нашем подлунном мире хоть и ничто не ново, но удивительно много хорошего! Разве плохо, что коровы пока не летают? Но куда лучше, что мы сами прилетели всё же не в Японию с расширенными китайскими иероглифами, и без того бесконечными и на одно лицо, как и тамошние заниженные и зауженные узкоглазые немцы. Ну, почему это они так дружно не только на солнце шуряются?..

Дорогая дорога

Бесподобна Германия — моторизованное чудо чудес. Если при 82 млн. населения 53 млн. автомобилей, то какой же зрелый немец не любит быстрой езды? Иная монашка чуть за 80 летит на мотоцикле далеко за 80. На автомагистралях хоть плюс бесконечность развивай. Но шутки шутками, а безрассудные мотоциклы и рассудительные «Мерседесы» отмахивают все 300 с готовностью взять иные самолёты на буксир.

Хочешь — бери машину в подарок, дарёному коню в зубы не смотрят, спасибо, что на ходу, а иногда ещё и приплатят, чтобы только взял. Цветочки — застраховать её так, чтобы, раздевая тебя, оставила хоть в пределах приличия. Ягодки — получить права вождения, звучные («фюрершайн») и поэтому часто недосыгаемые, как свет далёкой и, быть может, заведомо погасшей звезды.

Соблазнился и я. Ещё в СНГ добрый знакомый неожиданно серьёзно заявил, что я должен не ходить пешком наравне с ним, а мимо него проноситься на белом «Мерседесе». Недолго думая, реализовал я его мечту в классически белых одеждах, но за неимением его здесь пронёсился мимо непосвящённых.

Спасибо за прозу бдительности и поэзию манёвра диктующему буквоеду из почему-то автомобильной школы и понимающему читателю из ГАИ!

Разве можно забыть родившегося в русскоязычной рубашке пьяницу, что заплетающимся прыжком бросился под колёса «Мерседеса», соблазнившего и его своей неотразимо обворожительной белоникелевой улыбкой и при этом не по новорусским законам природы «кинувшего», а согласно старонемецким па-де-де с миром покинувшего?

Не обижу и упомяну хоть скопом многочисленных до безымянности заготовителей рогов и копыт в виде тесных объятий при парковках и подъездах к ним, благо живу на местном Арбате, откуда отъедешь километра за полтора — и можно парковать машину свободно, как в немецком колхозе с несоветскими дорогами.

По истечении льготного, по переводу советских прав, года, удостоившись громкого одобрения за тихую безгрешную сдачу веселых немецких картинок и скучных не очень-то теоретических премудростей, я твёрдо схватился за руль сразу же после команды инструктора «Следующая жертва!», смысл которой доходил до меня и долго, и дорого.

Оказалось, что даже при безупречном поведении машины водитель может хромать на все четыре колеса и даже пятое тачанке-ростовчанке. Всё необходимое и достаточное, как условие теоремы, можно видеть, но совсем не уметь смотреть и смотреться.

Чтобы легче было на душе и в кармане, опытный дояр-инструктор грамотно печатал устные похвальные грамоты.

Зачем ты в наш колхоз приехал, незванный дядя-ревизор? Куда там комару — самодеятельному точильщику носа! Дело мастера боится, и неисправимый протокол дал обухом что в лоб, что по лбу и зарубил-таки на носу: если головой мало крутить, то её надо открутить. Подумаешь, что машина шла и пришла как и куда надо, — туда ей и дорога, да только без меня. А почерневшие от горя «дворники» заботливо смахивали с избитого столь жестоким встречным ветром стекла суровые мужские слёзы расплющенного в мутные лепёшки унылого свинцового дождя...

Но не к лицу же капитулировать перед младшим ровесником былых капитулянтов! Сменил я для верности автошколу и инструктора, но снова дождь, тот же экзаменатор и поправляющийся протокол, проворчавший, что уже лучше, но теперь голова может открутиться уже сама. Инструктор сознался: тот обычно даёт права с третьей попытки. Так надо было и начинать сразу с неё! А обычай — не гарантия. «Деньги вперёд» — да, «деньги — права» — нет. Так что за новые грустные деньги на старый весёлый ветер душа жаждала если и наступить снова на грабли, то хотя бы на другие. И прежние сами ушли на давно и бесспорно заслуженный отдых с горя от моего провала. Неужели дошлый ревизор, чей пронзает леденящий взор, пенсией не выскочив на ставку, не получит тёплую надбавку?

Словно отмечая день рождения Пастернака, закалённая февральская судьба подарила майское солнце, золотую середину моих взглядов на вещи в светящемся надеждой автомобиле и наконец-то нового экзаменатора.

Какой долгожданной, где-то надолго загулявшей и, казалось, навсегда заблудившейся музыкой звучал его заключительный аккорд! Заметив, что в узких местах не только я должен демонстрировать непохожесть на самое упрямое животное, благословитель недрогнувшей рукой открыл шлагбаум перед моим «Мерседесом», соскучившимся на приколе. Целая страна показалась ещё более приветливой и дружелюбной. И запела радостная душа: «Жить и верить — это замечательно!»

А водившие десятилетиями по разбитым дорогам даже автобусы шутят всерьёз о руках, почему-то дрожащих на ровном месте при ровном дыхании ревизора, о капитуляциях после четвёртой попытки и о восхождении на это седьмое небо с шестой.

Многим на дороги на загляденье остаётся только заглядываться.

Учатся и сдают на удостоверения и рыбаки, не за горами и пешеходные школы.

А не мечте ли русских идиотов загадочно улыбается немецкий тест на идиотизм?

И, может, лучше бы я изначально не соблазнялся машинами и прочими дамами или хоть сейчас прозрел, стал уважать более «зелёной волны» волну «зелёных», прорвавшихся к рулю без особых прав на вождение, и взял обет хранить свои на гвозде как неприкосновенную реликвию и вечно летать на таких ангельских крыльях реактивного велосипеда?

Карина Дворски

Родилась в Москве. Преподавала в начальных классах. В Германии с 2000 года. Живёт в Мюнхене. Пишет стихи, песни и прозу. Публиковалась в коллективном сборнике «Я помню время золотое» (Мюнхен, 2009). Лауреат 3-го Международного конкурса поэзии и короткого рассказа в Мюнхене.

* * *

Я уеду туда, где в море
река уходит.
Я уеду туда, где небо
синей воды.
И останусь там,
где над солнцем закатным всходит
Не звезда, а всего лишь надежда
новой звезды.

* * *

Стекло давно немывтого окна
не позволяет мне увидеть свет.
Я где-то родилась, потом была одна
И где-то умерла, забыв,
что смерти нет.

Стекло разбилось от случайных слов,
Холодный свет ударил по щеке,
И поддержать огонь
мне не хватило дров.
И не было воды в моей реке.

А я рукой
уже коснулась дна
И, чтобы не услышать твой ответ,
Я где-то умерла, но в непокое сна
Вдруг вспомнила,
что смерти нет.

* * *

Мой призрак, милый мой двойник
Со светлыми, весёлыми глазами,
Учитель мой и ученик,
Я Вам обещана, и я останусь с Вами.

Я Вам обещана бессонницей ночей
И отдана при встрече неслучайной.
Я думала быть навсегда ничьей,
Отпетой, одинокой и печальной.

Или смешливой, или озорной,
Или капризной, или сумасбродной,
Я постараюсь быть для Вас —
одной
любимой,
вечно беззаботной.

Я Вам обещана, и я останусь с Вами.
Надолго,
даже больше — навсегда.
А вот кому обещаны Вы сами,
Когда мне в церкви говорите «да»?

* * *

Мне не больно расстаться,
Мне страшно встретиться,
Когда утром отчаяньем серым дышит.
Мне не больно каяться,
Страшно верится,
Когда Он ничего не хочет, не слышит.
Если Он ничего не поет,
но плачет,
Когда в души наши украдкой смотрится.
А мы всё ещё вместе —
И это значит, что Он за нас
Хоть чуть-чуть, но молится.

Сон

— Мне снилось...

— Что?

— Уже не помню...

Я никогда не помню снов.

— Счастливая!

— Ты думаешь? Пожалуй...

Но иногда — скорее, редко —

Я просыпаюсь от кошмаров.

— Не просыпайся! Досмотри!

— Мне страшно.

— Нечего бояться. Я тоже как-то видел сон...

Прекрасный, как... Шекспира драма.

— Про что?

— Да всё про то же...

— А потом?

— Не знаю, началась реклама.

Михаил Левин

Родился в Нижнем Новгороде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского педагогического университета и Волго-Вятскую академию государственной службы. По профессии журналист. Член Союза журналистов России. Член международной творческой группы «Тайвас». С 2005 года живёт в Германии (г. Аугсбург, Бавария).

Стихи публиковались в российских и русскоязычных немецких газетах и журналах, в коллективных сборниках и альманахах России, США, Германии, Финляндии. Автор книг «Лабиринт» (1998), «Хранитель» (2001), «Перелётные ангелы» (2005), «Письмо с того света» (2009). Произведения Михаила Левина переведены на английский, немецкий, иврит.

Лабиринт

Здесь мрак непроглядный,
Здесь давит дремучая мгла...
О нить Ариадны!
Куда ты меня завела!

Летучие мыши
Шуршат перепонками крыл.
Я к пропасти вышел,
Я свой поворот пропустил.

Напрасно о лаврах
Я грезил в чаду суеты:
Здесь нет Минотавра,
Все залы темны и пусты.

Здесь души, как лица,
Грозят зарости бородой.
И не с кем сразиться —
Вот разве что с этой стеной.

Смешно и досадно.
Уже не помогут слова.
И нить Ариадны
Натянута, как тетива.

Становится душно.
И в сон начинает клонить...
Смотрю равнодушно,
Как рвётся жестокая нить.

На распутье

Скрещение дорог
Ждёт витязя, маня, —
Ты на любую мог
Поворотить коня.

Направо указав —
Дождёшься всех наград
И вечно будешь прав,
Хоть трижды виноват.

Вот это благодать!
Надёжно, как в раю.
И мне рукой подать...
Но я не подаю.

Налево? Завсегда
Приятнейший маршрут.
Тебе там рады? Да!
Тебя давно там ждут.

Там нега и покой,
Любовь нестрогих дам,
И мне подать рукой...
Да только не подам.

Назад? Кумач трибун
И вкус бедовых губ.
А ты там слишком юн
И, значит, слишком глуп.

Поманит в кабаки
Копеечный «Агдам»...
Не то чтобы руки —
Полпальца не подам.

А ежели вперёд?
А что там, впереди? —
Никто не разберёт,
Но милости не жди.

Там затаился тать.
Там бурелом лежит.
Уже рукой подать —
Да вот рука дрожит...

По сказкам узнаю
Скрещение дорог.
Пред камнем я стою.
Как витязь. Или лох...

Ах, какой чудесный лайнер!

Ах, какой чудесный лайнер! — вот билеты, дорогая,
Поплывём по океану прямо в прошлое с тобою.
Там другая атмосфера, обстановка, жизнь другая,
Мы успеем расплестись с сухопутною судьбою.

Капитан — в парадной форме, и блестит на солнце кортик.
Пассажиры в первом классе франтоваты и беспечны.
А оркестр корабельный грянет: «Ты морской мой котик!»
(Этот марш я сам придумал — про любовь, что длится вечно).

Вот уже платками машут — до отплытия минута,
И шампанское открыто с громким выстрелом и пеной.
Посмотри-ка, нам досталась обалденная каюта,
И макрель на ужин будет, слава коку, обалденной.

Ты проблемами, мой ангел, не грузи меня сегодня —
В судовом журнале запись: я — Herr Niemand*, просто странник.
Ах, какой чудесный лайнер! ...А когда убрали сходни,
Мы узнали: наш кораблик называется «Титаник».

Горгона

Твои глаза, как серые каменья,
Не пропускают солнце и дожди.
Какие мне ещё нужны знаменья? —
Зрочки кричат: «Спасения не жди!»

Я верю, что ещё во время оно
Они таили смертную печать,
И ты, моя милейшая Горгона,
Мужчин любила в камни превращать.

Но я тебе давно по духу ближний,
Не попадусь в расставленную сеть:
Мой взгляд и холоднее, и бульжней,
А сердце научилось каменеть.

И мне не страшно жить среди камней,
Как я, тепла лишённых и корней.

* Господин Никто (нем.).

В карете прошлого

Мы будем пить за тех, явление коих
В пределы наших юношеских коек
Нам тонус поднимало и настрой.
О, где вы нынче — Светы, Риты, Наты?..
Хотя мы все давно уже женаты,
Вас вспоминаем с тайной теплотой.

Эй, кто подаст нам в прошлое карету? —
Проведать эту.. или даже эту..
Ханжи заноят: «Бес в ребро! Каприз!»,
Но тянет с прежней силою влюбиться,
И пусть карета в тыкву превратится,
А кучер — в крысу. Я плевал на крыс!

Вдохнуть бы снова дух манящих комнат,
Где нас уже едва ли кто-то помнит:
Таких, как мы, дружков велик запас
У девочек, что на глазах умнели
И взять от жизни многое умели,
И нас совсем не ждут. А ждут — не нас.

Но это вздор! — Они нам будут рады,
И кто-то обретёт любви награды,
Да кто решил, что нам — не по годам?!
Так выпьем, старина, по сто на брата
За женщин, что любили мы когда-то.
И — стоя. Потому что пьём за дам.

Фауст — Маргарите

Ах, Гретхен, ни к чему нам философия,
Где правит страсть — дороги нет иной.
Ты даже не встречала Мефистофеля?
Нет, я — не он. А он идёт за мной.

Прекрасные мгновения — утопия,
И оптимизму, детка, не учи.
Ты знаешь, как от чёрной мизантропии
Мрут даже записные хохмачи?

А я — любитель: более ли, менее
Любил валять по жизни дурака
И ждать своё заветное мгновение,
Растягивая встречу на века.

С меня довольно безнадёжья этого,
Я все сомненья изгоняю прочь.
Чёрт — чёртово возьмёт, поэт — поэтово,
А мы с тобой — хотя бы эту ночь.

Потом исчезнет страсти опрометчивость,
Останется лишь память жарких тел.
Могут ли пожалеть твою доверчивость,
Коль душу я свою не пожалел?

Скорее упали ко мне в объятия,
Об этом после будет чудный стих.
Люблю сильней, чем сорок тысяч братьев, я
(Как позже скажет некий датский псих).

О том, что будет — знаю всё заранее.
Как будто кровь, с небес стекла звезда.
Ещё успеем загадать желание,
Да жаль — ему не сбыться никогда.

Город тихо каменел...

Город тихо каменел. Каждый провод — нерв.
Разве кто-нибудь умел так влюбляться в стерж?
Разве кто-нибудь мечтал о такой судьбе?
Голубь гадость прокричал — значит, о тебе.
А потом какой-то дог пиццу ел из рук.
Видно, тоже одинок среди разных сук.
Слюни горькие не лей, пистолет — хвостом!
Верно, дома веселей, только где наш дом?
Что, хвостатый, изнемог? Где твои друзья?
Жить с нуля? О, ты бы смог, это мне — нельзя.
Мне бы надо на вокзал. Или в самолёт..
Я б такое ей сказал... Впрочем, не поймёт.
Разговоры нам двоим, что собаке — плеть..
Буду с городом твоим молча каменеть.
Ну за что, о Боже мой, сердце — на излом?
Знаю: мне пора домой, только где мой дом?..

* * *

Меня закружило по свету,
Тебя удержало судьбой.
Не там хорошо, где нас нету,
А там, где я рядом с тобой.

Окончена наша баллада,
И ангел вспорхнул в небеса.
А писем уж лучше не надо —
Нам не о чем больше писать.

Казалось бы, сердце — на части,
Кругом воронье и вранье,
Но вновь усмехается счастье,
Еврейское счастье моё.

Анна Людвиг

Родилась в Санкт-Петербурге. Занималась музыкой, озвучивала на «Ленфильме» детские фильмы. В Германии с 1979 г., живёт и работает в Кёльне. Автор стихов, прозы и переводов. Стихи А. Людвиг публиковались в книжной серии «Литература русского зарубежья». Член международной творческой группы «Тайвас». Победитель межпортального конкурса «Точка разлома» в номинации «Поэзия» (I место). Лауреат поэтического конкурса «Четыре комнаты: лимерики и четверостишия». В 2008 г. выпустила книгу стихов «Работа над собой».

* * *

Как я живу? Вдыхаю, выдыхаю...
 Так день за днём. В бюро хожу, к врачу,
 С успехом притворяюсь, что шучу,
 Ругаюсь в переполненном трамвае...

Всё как у всех... Мой муж красив и нежен,
 За это благодарна я судьбе.
 Из года в год, уже гораздо реже,
 С печалью вспоминаю о тебе...

Ну, в общем, жизнь сложилась неплохая —
 А ты хотел, чтоб тосковала я?
 Нет времени: работа, дом, семья...
 Так занята — вдыхаю, выдыхаю...

* * *

Каким удивительно сказочным было начало!
 А нынче приходишь и в губы целуешь привычно.
 Но вот почему-то совсем без тебя не скучала,
 Что, как понимаю, тебе глубоко безразлично.

Припомни, как вместе смеялись, порой горевали,
 Узнать друг о друге казалось и важным, и нужным...
 Сегодня мечтой моей загорись едва ли,
 А коли попросишь совета — глядишь равнодушно.

Что делать? Завыть, как стареющий волк-одиночка?
 Спросить, не имея желанья дослушать ответы?
 Я думаю, если и любишь, то лишь оболочку.
 Ну что же, возьми! В ней меня всё равно больше нету...

Судьбе-шутнице угодно было...

Судьбе-шутнице угодно было столкнуть их снова.
И вот однажды, совсем случайно, свела кривая —
Он шёл куда-то пешком от площади Льва Толстого,
Она, замёрзнув, на остановке ждала трамвая.
Обоим сразу пришли на память иные зимы,
Когда гуляли вдвоём в обнимку под снегопадом,
Она его называла нежно своим любимым,
Он пел ей песни, носил букеты и звал отрадой.
Какая встреча! И, поздоровавшись неуклюже,
Поговорили о том, о сём, о вещах банальных,
Она о детях ему поведала и о муже,
Он рассказал ей, что в институте — большой начальник.
И разбежались, и затерялись в огромном мире,
На город тихо спускались сумерки,
И во мраке
Она сидела,
Глотая слёзы, в пустой квартире...
Он — одиноко смолил окурочек в своей общаге...

Бессонница

На засов горизонт за собою закрыв аккуратно,
Ночь лениво выходит на улицу поступью смелой
И, засвеченный фильм изменяя на узкоформатный,
Превращает цветные мотивы в сюжет чёрно-белый.
Ей совсем не мешают квадраты оконных проёмов:
По душе покрывало из кружев, закатом сплетённых.
Ночь с улыбкой глядит, как на лавочке около дома,
Обнимаясь, никак не расстанется пара влюблённых.
А в колени хозяйке прохладным и ласковым носом
Темнота шелковистая тычется, чуя прогулку,
И виляет хвостом... Поправляя тяжёлые косы,
Ночь спускает её с поводка, и по всем закоулкам
Темнота семенит, растопырив лохматые уши...

Так и бродят вдвоём, не скучая... И вплоть до рассвета
Охраняют покой и больные уставшие души
Отложивших на завтра дела и вопрос без ответа...

Побочная трагедия

Довелось ей служить водителем
И как раз на трамвайной линии,
По которой домой, к родителям,
Ездил парень с очами синими.

Комсомолка, слыла красавицей:
Брови — дуги, глаза беспечные...
Ей хотелось ему понравиться,
Чтоб влюбился на веки вечные.

Погулять по Москве ухоженной,
Оттянуться от одиночества...
И создать бы с ним, как положено
Поженившись, ячейку общества.

Нарожать ребятишек дюжину,
Чтобы умные да пригожие,
Чтоб души в них не чаял суженый,
А они — на него похожие.

И трамвай свой, ведя по улице,
Представляла, как обручальное
Он кольцо ей наденет... Сбудутся
Грёзы сладкие, чуть печальные...

И настолько мечтою томною
Увлеклась, как всё будет здорово,
Что, неловко свернув на Бронную,
Отсекла Берлиозу голову!

Антисказка

Ты очень долго искал принцессу,
А попросить у меня приюта
Не то сподобили злые бесы,
Не то, быть может, Господь попутал...
И, увлекаемый той мечтою,
Ты до сих пор ещё бредишь ею,
Надеясь втайне на чудо, что я
Внезапно стану волшебной феей.
В старинных сказках — своя мораль, но
В реальной жизни — не те дороги,
Мне кандалы башмачков хрустальных
Уже до крови натёрли ноги,
Давно поблёл дворцов окраска,
А позолота покрылась пылью...

Я не смогу быть твоею сказкой,
Но... хочешь... — стану твоею былью...

Колыбельная

Тёплый ветер печаль и заботы куда-то унёс,
Под ногами — пружинящий мох и невидимый вереск,
Выйду ночью к реке, на пустынный, искрящийся берег
И войду в эту воду, парную и полную звёзд.

Поплыву между ними, авось доплыву до луны,
Чуть дотронувшись пальцем, её осторожно поглажу...
И нырну с головой в совершенство ночного пейзажа,
Распулав ненароком снующие стайкою сны.

Присмотрю самый нежный, поймаю его под водой,
Не придётся, наверное, даже забрасывать сети.
И, надеясь на то, что пропажи река не заметит,
Принесу драгоценный подарок тебе, мой родной.

Старому другу, или 30 лет спустя

Дмитрию Тищенко

Не знаю, судьба или чья-то немилость,
И поздно теперь горевать об утрате,
Искать виноватых... Уж так получилось —
Не вышло, приятель, взростеть в Ленинграде.

Казалось бы, жизнь хороша и уютна,
Душа не таит холодка и обиды,
Но, знаешь, порою себя почему-то
С тоской ощущаю каким-то гибридом.

И кто мы с тобой? Разобраться непросто...
(Какие в четырнадцать лет диссиденты?!)
Вещаю по-русски с немецким прононсом,
А ты отвечаешь с голландским акцентом.

На полках — в обнимку Довлатов и гёзы,
Фонтанка и Одер — в извилинах мозга,
И часто поёт незабвенный Утёсов
Притихшим картинам бессмертного Босха.

Не то чтобы мы отличались от местных,
Характеры схожи, не нужно кривляться,
Но муж до сих пор удивляется всплескам
Моих не совсем европейских реакций.

Наверно, разгадка придёт постепенно,
А может, она где-то тут, за углом, но
Пока что побуду гражданкой Вселенной,
С довольно большим ленинградским уклоном.

Продолжаю

«Мы все здесь сумасшедшие, — произнёс Чеширский Кот, — я — сумасшедший, ты — сумасшедшая...»

«А ты уверен, что я — сумасшедшая?», — робко спросила Алиса.

«Если бы ты не была сумасшедшей, — объяснил Кот, — тебя бы здесь не было!»

Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес»

Года летят безудержно и шустро,
За все ошибки получаешь «сдачи»,
А время, как таинственная куздра,
Бокрёнка так же яростно курдючит.

Но душу обнажить — себе дороже!
И ты, с обворожительной улыбкой,
В тот миг, когда живьём сдирают кожу,
Воркуешь голоском влюблённой скрипки.

Все аргументы — просто детский лепет,
А в зеркале — давно уже чужая...
Но всякий раз на ум приходит Беккет:
«Не в силах продолжать. Я продолжаю»*.

* Samuel Beckett (1906—1989), ирландский писатель: «I can't go on. I'll go on».

Борис Дадашев

Родился в г. Грозном в 1960 году. Окончил Грозненский нефтяной институт (инженер-механик) и факультет общественных профессий (журналистика). С 1992 года живёт в Израиле. Публикации в периодической печати России и Израиля, в поэтических альманахах «Юг», «Наша Звезда», «Год Поэзии» и других. А также в антологии «120 поэтов русскоязычного Израиля». Автор книги стихов «Интонации». Член Союза писателей Израиля.

Ветер и хмурая тучка

Жила-была хмурая тучка.

Рассказывали, что у неё был ужасный характер и поэтому она выглядела мрачной и недовольной. Но на самом деле, она была грустной и часто плакала. Грубый ветер таскал её по всему свету, даже не спрашивая, хочет она этого или нет. Иногда он сталкивал её с другими тучами, отчего последние моментально вспыхивали и громогласно выражали своё недовольство. Все её слёзные заверения, что она тут ни при чём, прерывались всё тем же задирой-ветром, который хватал её и уносил туда, куда ему заблагорассудится.

Бедная тучка нигде долго не задерживалась. Ветер прогонял её за горизонт, лишь только она начинала светлеть, не давая ей вволю выплакаться. Может быть, поэтому она и была хмурой — ведь это всегда очень обидно, когда тебя невыслушивают.

Но однажды ветер притащил её в небо над маленьким островком, изнывающим от жары. Зелень его, казалось, уже потеряла всякую надежду хотя бы на капли признательности за её стойкий характер. Ветер размяк и спрятался от зноя в какой-то норе.

И тут тучка разревелась не на шутку. Сначала она выплакала все свои обиды, затем рыдала из жалости к зелёным росточкам, а потом просто плакала и плакала, пока не похудела и не превратилась в маленькое белое облачко.

Отдохнувший ветер вернулся на небо и не нашёл хмурой тучки. Но он нисколько не огорчился, потому что очаровательное облачко любезно согласилось отправиться с ним в дальние края.

Почему бы не попутешествовать, когда у тебя хорошее настроение и такой обходительный друг.

А жаль, так хотелось...

Утро.

Хорошее настроение.

Закрыв глаза — нашёл нуждающегося: муравей пытался тянуть непосильную для него ношу. Перенёс её вместе с муравьём к муравейнику, где соплеменники сразу же кинулись на помощь.

Птичка увлеклась зёрнышком. Кот вот-вот прыгнет... Спугнул птичку — улетела, а кот остался греться на солнышке.

Сел за работу. Написал на листочках больше сотни раз: «Будьте счастливы!». Пошёл разносить по почтовым ящикам.

Солнце припекало. Подумал: а какво сейчас пустыне?!

Дождь целый час поил сохшуюся почву. Чего-то не хватало для глаз... Повесил радугу. А если и тучки раскрасить?! Эта вот — оранжевая, и вместе с каплями из неё пролились оранжевые цветы, прямо в пустыню, целая поляна! А та — изумрудно-прозрачная! Глядь — а на земле от неё не какая-то лужица — целое озерцо! А что из розовой?! А из розовой пусть всё живое черпает вдохновение!

— Безумец! Я же пустыня!

А жаль, так красиво всё получалось...

Пытка «выбор»

Не жаждать славы, суетни
Олимпа — в скромный штиль эмоций
Укрыться, коротать в тени
свой век...

Иль насыщаться солнцем?

По сути —

быть или не быть?

Пристроиться иль состояться?

Тянуть своей планиды нить,

Или тянуться?

Тунеядцем

Висеть на шее у судьбы,

Ярмом — бесславно павшим нимбом,

И сокрушаться — если бы...

Уж я бы показал бы им бы...

Что ж, сослагательная дыба

Поднимет — но не на дыбы...

Рабы мы или не рабы —

Не избежать нам пытки «выбор».

«...О двух концах» — сие не тайна —

Когда мы выбираем галс —

Господь испытывает нас,

И мы судьбу свою пытаем.

Так что же — быть или не быть?

Творить иль раствориться всеу?

Неприхотливый холить быт,

Или, спокойствием рискуя,

Рвать праздно-серой жизни сеть

И — в неизведанную просинь..?

На солнце можно обгореть...

В тени и тени не отбросишь...

Поминальная В. С. Высоцкому

Поминальные страсти...

По чёрной по масти — веди игру.

На Ваганьковом — крести. Ещё одна песня Владимиру.

Жил поэт — бесшабашен, ему был не страшен девятый вал,

И у краешка бездны он бусы созвездий разглядывал.

И пульсировал образ в артерии,

Семиструнный озноб пробирал,

И по всем закоулкам империи

Надрывался хрипящий вокал.

Был талантлив от Б-га — изящным ли слогом, по фене ли

Доставал он до сердца. Куда было деться Офелии?!

Стихотворной волшбою и русской любовью обласкана,

В королевстве советском французской невестою датского...

И венчальную ангелы пели им,

И Господь им коней запрягал,

И по всем закоулкам империи

Надрывался хрипящий вокал.

Кто сидел с ним, кто плавал, кто в горы — на скалах привал ища...

И врачи, и водилы — все в нём находили товарища.

Что ж чиновничьи власти? — хулой да с пристрастьем — размажь его!

Для вельможного гнева хватало припева сермяжного.

Боль народную к сердцу примеривал,

Ни единою буквой не лгал,

И по всем закоулкам империи

Надрывался хрипящий вокал.

Поминальные страсти...

Вселенная — настезь, — к другим мирам...

И уход в поднебесье — ещё одна песня Владимира.

И уход «за кулисы» — ещё одним вызовом скотскому..

Он ушёл на заданье... Давайте помянем Высоцкого.

«Он начал робко — с ноты “до”,

Но не допел...»

Море и побережье

*

Меланхолией море болело.
Билось в скалах тоскливым прибоем,
отупело бросалось всем телом,
морщась, пенясь, стеноя от боли,
в пересоленном грустью миноре,
от печали, от безнадёжья,
потому, что оно, море,
влюблено было в побережье,
и искало
на голых скалах
ответной любви и поддержки...

Побережье туманом потело.
Подмывало его волнение
и скалистое откровенье,
влажным воздухом, мутно-белым,
расстилалось, взывая к небу:
«Раствориться в любви мне бы!
Изменить свою суть в корне,
лечь песочком на дно нежным,
потому что я, побережье,
дó смерти обожаю море».

И кричали об этом чайки
у невидимого причала,
и кричали они оголтело,
будто на самом деле
Море и Побережье
жили одной печалью...

*

...И был прибой горяч, но без истерик —
Шумел, как полагается, всплыв.
А неприступный с виду скальный берег
Мечтал, чтоб поглотил его прилив.

И было утро в сером ре-миноре,
Армада туч у ветра на плечах.
И мутное взволнованное море
Выплёскивало на́ берег печалью...

*

От поцелуев моря на ветру
Потресканные губы побережья...

Весенние этюды

*

Подснежник — весна репетирует...

*

Март-первоклашка наляпает кляксы на белом —
Солнце ещё неумело топит снега...
Гласно-согласные звуки первых капелей —
Это Вес-на читает себя по слогам...

*

Импровизации сосулук
На тему оттепели грёз
Сплетает в джазовый рисунок
Апрель — капелей виртуоз.

*

Вишня, по весне, нагие ветви
Заплетает белыми цветами.
Не зевает дыхатель-ветер —
Задыхаясь, в косах этих тает...

*

Она — в юбчонке, с веточкой сирени...
А мы гарцуем, кто во что горазд...
Весна упала на её колени
И вдохновляет на поступки нас.

Метаморфоза

Если мрачную тучу
избавить от строгой заколки,
посветлеет она,
распустив дождевые власа.
А потом,
бригантиновым облаком, по небесам
поплывёт,
отражаясь флотилией в лужах-осколках.

*

Она в лирическом разбеге,
Она из творческих натур,

И вдохновенье не капризно,
И ночь её звучит в побегах —
Вздыхают почки, пахнет жизнью, —
Весна играет свой ноктюرن.

* * *

Угостили словом ласковым —
Подсластили суету.
День до этого был пасмурным,
А теперь он весь в цвету.

Словно небо слово слышало
И расчувствовалась высь, —
Бело-облачные вышивки
Ей на славу удались.

И возрадовалась, вспыхнула,
Светом солнца налилась, —
Жизнь беспечною шутихою
Вдохновенно завелась.

Птичья бурная риторика —
Не поделят червяка.
Стелятся коты-разбойники —
Прыгнуть, так наверняка.

Всё ворчит ворона-склочница,
Ой, накаркает беду.
Вот присела рядом, топчется,
Прям у кошек на виду.

Клумбы ярмарочно-пёстрые,
Ароматов лёгких взвесь.
За пчелюю шмель ухлёстывал,
Бедненький, — извёлся весь.

А фонтан в щедротах солнечных,
Радугую ворожит —
Краски нежные и сочные,
Брызги праздника души!

* * *

...Кутить! Весне распушенной служить,
Забывать, что существует непогода.
А годы — в долгий ящик отложить,
На чёрный день, когда тебе природа
Накажет философствовать про смерть,
Оглядываться в прошлое тоскою...
Но нынче — буду с радости краснеть!
Я безрассудно счастлив и раскован!

Людмила Чеботарёва

Поэт, прозаик, переводчик с иврита, английского и испанского языков. Автор и исполнитель песен.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля и Международного Союза писателей «Новый современник». С 1993 года живет в Израиле, в городе Нацерет Иллит. Преподает в школе английский язык.

Победитель и член жюри многих сетевых конкурсов.

В Израиле публиковалась в периодических изданиях, в альманахах «Галилея», «Роза Ветров» «Год Поэзии. Израиль-2006», «Год Поэзии. Израиль-2007» и др.

Автор стихотворного сборника «Четыре времени души» (1997) и книги стихов, песен, прозы и переводов «Чертополох» (2008).

Сказ про птицу Выживику

Давно это было... Так давно, что, поди, и вовсе позабылось бы, кабы не передавалось из уст в уста — от нянюшки к малым детушкам, к внукам от старой бабушки...

Сказ этот пусть и млад и стар прочтет да другим пересказать не запомнит. А ежели словечко какое мудреное, заумное встретится, так на то и язык даден — чтобы выпрашивать, коли неясно что.

А в сказке сказывается о земле нашей родимой, о природных дарах ее щедрых. Только дары те открываются лишь тому, кто слабых и немощных от злых сил обороняет, кто землю свою любит — и в беде и в радости.

...Шли по тайге калики-перехожие, певцы бродячие. В руке — клюка, за плечом — сума холщовая, суровыми нитками латаная, да в суме той переметной даже мышке малой поживиться нечем: ни еды — ни корочки, ни воды — ни капельки.

День шли, другой брели, третий еле двигались. Солнце июльское, нестерпимо жаркое, то всходило, то в ночь падало. Месяц бледный двурогий за тучку темную хоронился-прятался. А тайге дремучей ни конца, ни края не видать. Направо пойдут — перед ними дубы-великаны стеною встают; налево свернут — елки колкие дорогу заслоняют; вперед двинутся — болота топкие, зыбучие; вспять возвратятся — и вовсе уже пути-дороженьки нет как нет. Ни цветочка, ни грибочка, ни ягодки... Ни росинки, ни дождинки, ни радуги... Обессилели люди, впали в отчаяние, стали смерть поджидать неминуемую.

Вдруг слышат: птица малая кричит тоненько, мечется, крылышками машет отчаянно, а за ней быстрая куница-желтодушка охотится, уж и нагнала почти.

Осердились калики на хищницу, жалко им стало птаху божию, да только как куницу прогнать, когда странники почти обездвижили?

Только тут из последних своих силушек приподнял калика клюку тяжелую, замахнулся ею на охотницу — только след ее и видали в тайге, лишь вильнула пушистым хвостом на прощание.

А странники притомленные прилегли на сыру землю, под голову котомку порожнюю подсунули, укрылись ветхим рубищем и забылись тяжким, беспробудным сном.

Только сон им снится светлый, радостный. Хорошо во сне странникам: колосится пшеница да рожь золотистая, а во ржи васильки синеокие да маки пунцовые...

Ручьи журчат серебристые, а в прозрачной воде рыбки веселые шумно плещутся...

Солнышко с неба бирюзового светит ласково, быстрокрылый ветерок прохладой пот осушивает...

Девушки в сарафанах лазоревых с алыми атласными ленточками в русских косах до пояса на зеленой травушке-муравушке под березонькой белою хоровады водят, в салочки играют, парней очаровывают...

Кто ж от таких снов просыпаться возжелает?

Вот и спят странники. Час спят, другой спят, дело к вечеру близится...

Вечер сменился ночью черною, безлунною и беззвездною, ночь — ранней утренней зорюшкой, а калики не просыпаются — подниматься нет ни сил, ни надобности: видать, тайга дремучая, непроходимая, станет им последним приютом на этой бренной земле.

Только что это вдруг сон их нарушило?

Видят странники: птица над ними вьется, пташка серенькая, неприметная — лишь на крылышках голубая каемочка.

Причитает птица без устали.

Что за слово такое странное, прежде никогда не слыханное?

«Вы-жи-ви-ка!» — птица кричит.

«Вы-жи-ви-ка!» — и крыльями хлопает.

«Вы-жи-ви-ка!» — будто зовет за собой.

«Вы-жи-ви-ка!» — обещает спасение?

Но не верят той птице странники, расставаться со сном не хочется.

Только птица кричит пуще прежнего.

«Вы-жи-ви-ка!» — кричит, старается.

Осердились калики на птицу крикливую, изловить-извести ее думают.

На поимку все разом бросились, птица же их в чашу леса заманивает.

А калики руками размахивают, ничего вокруг не примечают, вот на колючие заросли и напоролися. Гибкие ветви кустарника не прямо растут — полукружием, прямо в землю они упираются. На ветках шипы хищно вниз загнуты — того и гляди в плен возьмут, не выберешься.

А птица уж на ветке сидит, вновь кричит, будто издевается:

«Вы-жи-ви-ка!», «Вы-жи-ви-ка!».

Тут-то странники и заприметили на кусте крупные ягоды. Очень уж с малиной схожие — только черные совсем, да налет на них цвета сизого. Никогда таких прежде не видывали.

Замерли на бегу странники, до дрожи отведать ягодку хочется — так давно у них маковой росинки во рту не было. Отведать-то хочется, только зело боязно: вдруг те ягоды дурманные, вдруг — ядовитые?

А птица еще громче кричит:

«Вы-жи-ви-ка!», «Вы-жи-ви-ка!».

«Что ж, была не была! — решили странники: — Семь раз горевать, да один помирать...» И сорвали ягодку черную, поднесли ко рту, помолвившись...

А костянки у ягоды сочные, вкусные, душистые... Стали калики ягоды собирать: одна... другая... пятая... Трапезничают странники, а силушка у них все прибавляется и прибавляется. Глядь, и лес не так страшен и темен уже — сквозь заросли солнышко проглядывает. А рядышком ручеек прохладный журчит. Утолили калики голод с жаждою, а там и набрали на просеку прохожую.

Птица же серенькая с голубой каемочкой на крылышках все кричит им вослед: «Вы-жи-ви-ка!». Ни дать ни взять — за них радуется.

Вернулись калики в родные места, про чудесное спасение рассказывают, птицу Выживику добром вспоминают, ягоду живительную нахваливают.

Порешили они ту ягоду в честь птицы-спасительницы назвать — выживикую.

С той далекой поры много лет уткло...

Выживику зовут теперь ежевикую и считают ягодой пользительной, лечебною: и от жару она помогает, и когда животом маются, и от гнойных ран, и от кровотечения, а уж чай из нее — всем чаем чай!

Нужно помнить только, что ежевику можно собирать лишь до Михайлова дня *, потому что аккурат в этот день дьявола изгнали из рая и он приземлился на колючий куст ежевики.

Да и невкусными становятся ягоды осенью — твердыми, кислыми и с большим количеством косточек.

Ежевика — она тепло любит, летнее солнышко.

Из цикла «Четыре времени души»

Ну разве связаны стихи с погодой?

Дождь,

снег ли,

солнце —

знай себе пиши!

Но как в природе есть

сезоны года,

так есть четыре времени души...

Весеннее настроение

Снег умер на тринадцатые сутки

С проталинами-ранами на теле.

Оплакивали смерть его сосульки,

И траурный наряд грачи надели.

* Михайлов день отмечают 29 сентября.

А воробьи чирикали на кленах,
Но их оркестр немножечко фальшивил.
С томительным обрядом похоронным
Земля скорей расправиться спешила.
Ведь через край голубизна плескалась,
Печаль сменяя ожиданьем светлым,
И лишь чуть-чуть до встречи оставалось
Нам всем с новорожденным первоцветом.
И в предвкушенье важности мгновенья
Скорей стремились почки сбросить путы,
Чтоб поприветствовать весны рождение
Своим зеленым праздничным салютом.

Летнее настроение

Художник-солнце щедро светотени
кладет на запыленный холст дорог.
Асфальт клубится от прикосновений
горячих шин и загорелых ног.
Дожди едва намечены штрихами —
все время рвется тоненькая нить.
И душу очерстевшую стихами
Никак не может лето увлажнить.

Осеннее настроение

...А листья,
как бенгальские огни,
лишь на мгновение вспыхнув,
отгорели.
Все дольше ночи,
все короче дни,
и все печальней память об апреле.

Седает осень.
Облысевший клен
по-стариковски мерзнет за окошком.
И на ветру
прощально машет он
последним
высохшим
листочком-ладошкой.

Зимнее настроение

По земле на цыпочках скользил
Первый снег, почти мгновенно тая.
Первый —
после двух бесснежных зим.
Светлый —
будто легких чаек стая.

Чуть качались в воздухе дома...
Все казалось зыбким и непрочным.
В общем-то, еще и не зима,
Но уже не осень —
это точно.

Летопись греха

(Цикл стихотворений)

*А все предрешено.
И если суждено,
Приснятся на заре пророческие сны...
И ветер-вертопрах вдруг распахнет окно,
Когда душа и плоть вдвойне обнажены.
И со стола слетят усталые листья,
Где жаркие слова сплетаются в стихи,
Где — на пределе чувств — все истины просты,
А помыслы чисты, как первые грехи.*

Лилит

Был день шестой. Ты славно поработал,
Все именуя средь эдемских куш.
А за работу полагались льготы —
И Бог был молод, мудр и всемогущ.

Он обещал небесное блаженство,
Покой и отдых на закате дня,
И прилепить тебя навеки к женской
Душе и плоти. Только про меня

Забыл. А я была — еще до Евы!
Ты оставался при своем ребре.
Но нам двоим взошло созвездье Девы
В том давнем, первозданном сентябре.

И мы бродили по пустому саду,
И звезды тихо падали в траву,
И вкус у яблок был медово-сладок.
Мне не приснилось — помню наяву,

Как ты моих волос рукой касался.
Пьянели от нектара мотыльки.
Ты мне в глаза смотрел и отражался
В них, словно в лунном зеркале реки.

И мы с тобою в салочки играли:
Я убегала — ты меня ловил.
То вместе выше облаков взмывали,
То вниз, на землю, падали без сил.

И умирали, друг на друга глядя,
И возвращались к жизни вновь и вновь.
А в небесах, расшитых звездной гладью,
Рождался свет по имени «Любовь».

Еще бесплодно дерево Познания
Добра и Зла и древа Жизни — нет.
Тебя еще пока не одурманил
Нагого тела нестерпимый свет.

И мы, как дети, — юны и невинны —
Пытались притяженье превозмочь.
А то, что губы — пряны, пьяны, винны,
То в этом виновата только ночь

Да терпкий сок раздавленных черешен...
Вокруг еще — Эдем, а не Содом.
До Евы я — со мной ты не был грешен!
Грех появился на Земле потом.

Ева

Мне имя — жизнь. Меня зовешь ты Евой.
Обречена на сладкий райский сон.
Евфрат — направо. Хиддекель — налево.
Назад — Гихон, а впереди — Фисон.

Разнообразья нету абсолютно:
Все те же птицы, звери и цветы.
В Раю — ужасно пусто и безлюдно,
И очень скучно — только я и ты.

Мне не с кем перемолвиться словечком,
Уж я не говорю о паре слов!
И Бог мне обещал, что будет вечной
Вот эта пресловутая любовь?

До гроба мне выслушивать Адама,
Что снова Рай я плохо убрала?
Ах, если б только были чемоданы —
Немедленно бы их я собрала

И прочь из Рая мчалась без оглядки,
Хоть к черту на кулички — только прочь!
Мне эти ваши райские порядки,
Как в горле кость. Но некому помочь:

Я одинока. Как я одинока!
А муж — он, как всегда, объелся груш,
И сон — послеобеденный, глубокий —
Не доведи Господь — я не нарушь!

Мне надоело пыль стирать с деревьев —
Так громко называются они:
Познаешь! Жизнь! — Словам теперь не верю.
Неужто так и будут мчаться дни,

Как близнецы, похожи друг на друга?
А клетка золотая — тоже плен!
И тело, что сегодня так упруго,
Когда-то превратится в прах и тлен...

Но... кто это среди ветвей мелькает?
И что за плод упал мне на ладонь?
Какой он мягкий, сочный, прямо тает
Под пальцами — его ты только тронь!

Так, может, откусить? Совсем немного,
Всего кусочек, капельку, чуть-чуть...
Ну что ж, что обещанье дали Богу!
Могу я в жизни хоть разок рискнуть,

Нарушить ход истории вселенской?!
И пусть потом душа моя болит,
Я поступлю по-своему — по-женски,
Как чувство, а не логика велит.

Адам

Лунный демон, Лилит — белых лилий дурман окаянный,
Почему твое имя приходит в рассветных стихах?
С неба звезды слетают и бьются со звоном стеклянным.
Ева спит, разметавшись во сне после ночи греха.

В волосах ее пепельных — танец серебряных бликов.
На припухшие губы ее в поцелуях моих
Положу две черешенки, огненных два сердолика —
Амулетами против укусов ревнивой змеи.

Я люблю тебя, Лил, не познавшую искусов Рая!
Но и Еву люблю. И любовь полуправдой гублю.
Я за слабость свою ненавижу себя. Презираю.
Проклинаю. Прощаю. И снова двух женщин люблю.

Что же ты так суров к неразумному сыну, мой Боже?
Отчего ты готов Древо Жизни сгубить на корню?
Мне осталась на память змеиная мертвая кожа,
Я под Древом Познания сегодня ее схороню.

Людмила Клёнова

Родилась на Украине. Окончила Харьковский институт искусств. По основной специальности — музыкант, пианистка. С 1999 года живёт в Израиле (г. Ашкелон). Первый сборник «Я слушаю дыхание стиха» вышел в 1998 г. (Украина). Остальные — уже в Израиле : «Прикосновение» и «Я не скучаю по снегам» — 2000 г.; «Отражения» — 2004 г.; «Контрасты» и «За жизнь до мига» — 2006 г., «Крылья строчек» — 2008 г. Стихи публикуются в альманахах и антологиях Израиля, Финляндии, Германии, России. Член Союза писателей Израиля. Член Международного Союза писателей «Новый современник», член международной творческой группы «Тайвас».

Мой русский...

Мне мама пела русские слова
 В цветенье вишен сада
 Украинского...
 Я в них росла — как в дождь растёт трава;
 Я их впитала — солнечными искрами;

И, восторгаясь мира красотой,
 Искала в них с душой своей единство я...
 Великий РУССКИЙ —
 Сложный и простой,
 Родной до боли...
 Потому — единственный...

Весной совсем НЕрусскою дышу —
 И всё в судьбе моей переиначено...
 Но лишь на русском — мыслю.
 И — пишу.
 И лишь на русском —
 И смеюсь, и плачу я...

Хочу проснуться...

Какое счастье — где-то между снами —
 Ладоней близких шёлковый покой...
 И нежных губ ласкающее пламя...
 И щебет птиц за окнами — рекой...

...Хочу проснуться в нежной паутине
 Твоих касаний чутких... И пьянеть

От золоченья высветленной сини
Небес, попавших в солнечную сеть...

И от того, что сердцу станет тесно,
Когда в зенит качели вскинут нас —
И от уже рождающейся песни,
Мелькнувшей тенью в жарком блеске глаз...

Ростки мелодий, тянущихся к лету,
Нальются силой алого крыла...
И мне не жить без этого рассвета,
В котором жизнь невысказанно светла...

Я уйду...

Сегодня дождь позвал меня с утра
С собой в дорогу — яростный и частый...
И я решаю — кажется, пора
И мне искать потерянное счастье...

Я уйду.
Заплаканным стеклом,
Проснувшись, окна молча смотрят в спину...
Я уйду...
Я помню о былом —
Но эта память горечи полынной...

Я уйду.
И ветру не вернуть
Меня обратно, в прошлое, где — камнем —
То убивая: «Кончено... Забудь...»,
То покаянно: «Как же без тебя мне...»

Я уйду.
И зонтик-парашют
Страхует робко — от паденья в бездну,
Что миражами призрачных минут
Зовёт в надежду...
Выживу — воскресну!

Я уйду, былого не щадя...
«Остановись!», — рокочет гневно гром...
Но
На том конце летящего дождя
Уже светлеет
Неба берег тёмный...

Я уйду...

В этой вечности...

В этой вечности нам
Подарила судьба неожиданно
Свой немислимый дар —
Друг о друге узнать... Осознать,
Что теплее минут
Не бывает в ладонях у жизни... Но
Словно тайнопись рун —
Невозможности строгой печать...

В этой вечности нам
Из привычного круга не выбраться —
Параллельным вселенным
Лететь в параллельных мирах...
Только медленный стон
Из закушенных губ моих вырвется —
Только медленный сон
Будет таять, как зыбкий мираж...

В этой вечности нам
Не позволят свидания скорого,
А НЕ-встреча привычна —
Простая и лёгкая смерть...
Так зачем на стекле
С холодов ледяными узорами
Твоё имя хочу я
Дыханьем своим отогреть...

Непослушный...

Из-под рук уплывает опять и опять
Этот радужный тёплый обманщик...
Говоришь, нам с тобой никогда не поймать
Ускользящий солнечный зайчик?

Он останется только пятном на стене —
Как проекция нашего счастья —
Невозможную нежностью в тающем сне,
Той, к которой мечтаю припасть я —

Но не только душой — а касаньем руки
И устами — как страждущий в жажду...
Я его отпущу у далёкой реки —
И тебя он разбудит однажды...

Он не станет ручным — он не выживет так —
Просто сам несвободу полюбит —

И забьётся с сердцами горячими в такт,
Если встретятся руки и губы...

Золочением жарким небесная гладь
Засияет... И это ль не значит,
Что уже не захочет от нас убежать
Непослушный твой солнечный зайчик...

Час, открытый в Вечность

*«Нет Времени, нет Следствий, нет Причин.
Мир в глубине, и звукам нет названья...»*

М. С.

Ни времени, ни следствий, ни причин —
Мир затаился в глубине — и замер,
В бездонном сне беззвёздности почил,
Предвидя воскрешения экзамен;

Предчувствуя, что бед не избежать...
Но в тихий хор вечерних песнопений
Вольётся слов невнятных благодать —
О радости и нежности весенней,

Что нам дарует краткий счастья миг...
И — ни причин,
Ни времени, что лечит...
Есть только ТЫ...
И странный
Этот мир,
И этот
Час,
Открытый
Прямо в Вечность...

В этой тёплой, маленькой стране...

Какая ширь, какая синева,
Какой простор распахнутых дорог
В стране, на карте видимой едва,
В стране, к которой ближе прочих — Бог...

Но в этой тёплой, маленькой стране,
Среди приволья райского цветов,
Растёт, как стон в невыплаканном сне,
Тревоги стебель...
И уже готов

Любой ребёнок слышать этот вой,
И ждать: вот-вот осколки упадут...
Не называют ЭТО здесь войной —
Здесь ТАК живут... У Бога на виду...

Клинком сирены вспорот Звёздный Мост —
И «град» рисует с визгом дымный след...
Быть — иль не быть?
Вот в чём теперь вопрос...
Жить — иль не жить...
Таков теперь ответ...

Ефим Хаят

Писатель, журналист, историк. Родился на Украине. Живёт в Израиле.

Автор книги «Когда душа поёт» (сборник текстов на музыку украинских композиторов). Дипломант и призёр Международных литературных конкурсов (Нью-Йорк, Штуттгарт). Серебряный лауреат конкурса журнала литературной элиты «Лауреат» по итогам 2008 года («Лучшие публикации», номинация «Поэзия»). Член Международного Союза писателей «Новый современник». Председатель Израильского регионального отделения МСП. В 2008 году на Втором Съезде МСП от имени Княжеского Совета Всея Руси награждён Золотой Есенинской медалью «За верность традициям русской культуры и литературы».

Ева

(Глава из книги «Когда живые завидовали мертвым»)

«...И живые будут завидовать мертвым...»

(Из Библии)

Решением Генеральной ассамблеи ООН ежегодно будет отмечаться День Катастрофы европейского еврейства. В этот день прозвучит сирена и во всем Израиле наступит минута молчания в память о шести миллионах евреев, уничтоженных фашистами.

Обычно журналисты начинают свой рассказ словами «На журналистских дорогах встретился мне мой герой...» Я свою героиню искал. Искал с тех пор, как задумал книгу о Катастрофе, в которой хотел показать не только ужас Холокоста, но и героизм народа, который выжил... Ибо в то время выжить и было самым высшим героизмом.

Так появились главы «Ева», «Давид», «Моисей», «Авраам».

Я не придумал своим героям библейские имена. Так звали их. Ибо нет вымысла в моем повествовании — ни в именах героев, ни в местах, где происходили события, ни в самих событиях.

— А вы знаете через что она прошла....

— Если бы не Ева....

— Плядя на нее хочется жить...

Так о ней говорили соседи, друзья, знакомые. Я понял, я почувствовал: вот она, моя героиня. И если я о ней не напишу, то зачем мне писать вообще.

Мы сидим друг против друга, уже давно закончилась моя лекция, слушатели разошлись по комнатам отдыхать, в окно доносятся обрывки неспешных пенсионерских разговоров на русском, румынском, иврите, идише, с соседнего балкона на одной ноте звучит бесконечный пронзительный призыв «Эти-и-и! Эти-и-и-и!», а я слушаю Евину жизнь.

Служитель уже намекнул, что ему пора отдыхать, кондиционер отключен, за окном плюс тридцать, пот заливает глаза, авторучка то и дело выскальзывает из усталой ладони, а я пишу, пишу, пишу...

Пишу, боясь пропустить хоть слово, пишу о судьбе, такую непохожую на все то, о чем писал раньше, и такую общую для нас всех.

— Прошу простить за банальный вопрос, но скажите, Ева, что помогло Вам выжить?

— Завещание отца, я думаю. До недавнего времени считалось, что в Транснистрии, этом нелепом образовании, которое создал Антонеску, евреям было легче... Но только тот, кто прошел ад румынской оккупации, понимает, насколько быстрая смерть от пули лучше, потому что она — избавление. А мы умирали медленно, мучительно, умирали от издевательств, унижений, голода, непосильного труда...

Однажды ушли мы с отцом в село, чтобы выпросить хоть какую-нибудь еду для умирающей мамы. На обратном пути наткнулись на румынских солдат. Отец прижал меня к себе и шепнул на идише:

«Беги, дитя! Ты должна выжить и добраться “туда”, чтобы обо всем рассказать»... Я прыгнула в кусты до того, как раздалась выстрелы. Больше мы отца не видели.

Выполнить это завещание — вот что стало смыслом моей жизни. И в бесконечных скитаниях по гетто и лагерям (на моем счету их было семь), и потом, уже после войны, когда приходилось без конца отвечать на дикий вопрос следователей: «Как вы остались живы?», прощальные слова папы давали мне силы жить.

А еще помогла мне моя незабвенная сестра Лиза. Изнасилованная на глазах у матери грязным румынским солдатом, искалеченная, прошедшая через невыносимые издевательства и унижения, она в минуты опасности прикрывала меня собой.

Из письма Евы другу семьи, писателю Александру Скочинскому.

«...Как обычно читаю и пишу ночью. Для меня мой город — самый лучший в мире. Несмотря на позднее время, он светится тысячью огней, такое светлое чувство рождается в моей душе: наконец-то я дома! Мне спокойно от того, что наши солдаты даже на побывку приезжают с оружием. Верю: они смогут защитить нас. Я выполнила наказ моего отца! И то, что я здесь — это воплощение его мечты, его веры в наш народ. Я верю — наша страна будет существовать вечно!»

— О чем мечтали вы до этой страшной войны?

— Мечтала о театре. Как многие девочки, наверное. Но невыносимая жизнь в гетто и лагерях, постоянно, каждое мгновение — на волосок от смерти, и так долгие, долгие годы непрерывного кошмара... Кто через это прошел — поймет. Нас, шесть девушек, ежедневно выводили на работу. Офицер-сидист выстраивал всех в одну шеренгу на вытянутую руку одна от другой, становился сзади, поворачивался спиной и из-за плеча делал один выстрел из пистолета. Стоишь и не знаешь: то ли пуля убьет соседку, то ли вопьется тебе в затылок... Устраивались акции, когда отлавливали девушек, больных, слабых. Девушек насиловали, больных расстреливали...

Однажды, под Тульчином это было, старый рэбэ вымазал мне лицо сажей и сказал:

— Так и ходи, дитя.

Я была юной. А молодость и красота представляли опасность для жизни...

Нет, в синагогу не хожу — в памяти до сих пор картина расстрела. Верующие стояли на краю ямы в талесах и молились. А солдаты стреляли им в затылок. Так с незавершенной молитвой на устах они и падали замертво...

— Но ведь были же среди местного населения такие, что помогали евреям.

— Были, конечно. Нам, например, помогли бывшие папины студенты. Предупредили об акции, дали одежду и еду, посадили в телегу, которой правил румынский солдат. Но наряду с этим были равнодушные и ненависть.

— Но все же вы встретились с театром.

— Помог Его Величество Случай. Нас в сорок четвертом освободили советские войска под Могилев-Подольским. Сидим мы с Лизой, грязные, завшивленные, в лохмотьях, голодные... и поем. Прошли все круги ада, но ведь живые! Что пели тогда? Разве сейчас уже вспомнишь? На идиш, русском, молдавском, украинском. Что в голову приходило. А мимо проходил советский офицер. Услыхал, как мы поем, и отправил нас в воинскую часть на собеседование.

Выдали нам обмундирование, поставили на довольствие... и зачислили в ансамбль! А дальше вместе с советскими войсками: Румыния, Чехословакия, Австрия, Германия... Каждый городок, каждый концерт был событием. Пели на языках тех солдат, для которых выступали между боями.

— Фамилия ваша Гросс. А вторая часть — Айзенберг... Это — по мужу?

— С будущим мужем мы познакомились в Австрии. Он был начальником ансамбля ВВС оккупационных войск. В Австрии была первая полковая свадьба.

Там же стала студенткой венской консерватории. Жаль, проучилась только два года. У жизни свои законы!

Но пела много! И танцевала! Время и молодость помогают зарубцеваться и телесным, и душевным ранам. Излечить их, правда, не могут. Разве можно излечить боль от потери близких?

Из письма Евы Гросс Александру Сергеевичу.

«Все перевернулось. Чудом выжила. Потом долгие годы войны, мелькание городов и стран, радость творчества, успех, цветы... Одним словом, молодость.

...Мне много лет снится один и тот же сон — будто проваливаюсь я в черную бездонную яму, что-то густое и липкое заполняет рот, нос, уши, хочу кричать, но звуки не могут пробиться на поверхность, крик переполняет меня, еще мгновение — и я задохнусь, я уже задыхаюсь, но никто не приходит на помощь».

Конечно, ничто не проходит без последствий. Вы знаете, я и сейчас небольшого роста, а когда нас выгоняли на добычу торфа, от голода и непосильного труда была совсем как ребенок. Но необходимо было держаться, выполнять норму — обессилевших расстреливали.

Несколько раз с головой проваливалась в болото, вытаскивали за волосы. С тех пор все тону и тону я в том проклятом торфянике. Просыпаюсь и лежу с открытыми глазами, пытаюсь унять сердцебиение. И уснуть боюсь: вдруг однажды провалюсь в эту бездонную яму и некому будет меня вытащить.

— Вы не пробовали обратиться к психиатру?

— К кому только не обращалась! В незащищенной детской психике эти нечеловеческие испытания оставили такую глубокую травму, что ее последствия исчезнут только вместе со мной.

Из письма Евы Гросс другу семьи писателю Александру Скочинскому.

«...Мне очень захотелось написать именно вам о моем душевном состоянии. Не для публикации, как Вы это делали в Ваших книгах, а для того, чтобы выговориться.

Рождение детей, закрытие моего театра, пустота... куда повернуть, где найти покой кровотокающей душе?

Учеба, ночи без сна, а когда ненадолго засыпаю, проваливаюсь в глубокую яму, рядом то ли немцы, то ли еще кто-то. Боль, депрессия, не релетирую, не танцую...»

— Скажите, Ева...

Но она не слышит меня. Она сейчас далеко. Она там, в одном из гетто. Может, в молдавском городе Сокиряны, может, на Украине. Да и какое значение имеет география лагерей физического и морального уничтожения, через которые прошла эта хрупкая женщина?

Разве не одинаково страшными были все они?

— В центре лагеря была выкопана огромная яма, куда по нужде ходили все— и мужчины, и женщины, и дети. За ограждением собирались подростки, наблюдали за этим, смеялись, показывали пальцами. У нас же выхода не было, мы должны были быть постоянно на виду. Тех, кто покидал лагерь, карали смертью. Вся наша интимная жизнь, даже естественные отправления, были под контролем. Как-то ночью моя сестра выбралась за колючую проволоку и отправилась на поиск еды. Кто-то донес. И наутро пришли за мной. Комендант схватил меня за волосы, пригнул голову к коленям и начал хлестать плеткой, в ремни которой были вплетены металлические полосы. За то, что не донесла об уходе сестры. Видите шрам над губой — от боли прокусила ее — мои крики были слышны в самых отдаленных уголках лагеря. Никто не верил, что выживу — плетка рассекала кожу и вырывала куски мяса.

— Вот слушаю, Ева, и думаю: какая же сила вела вас сквозь эти невыносимые испытания?

— Я и сама над этим не раз задумывалась. В начале 1945 года мы продвигались в составе Второго Украинского фронта через Венгрию. Как-то вызвал нас с Лизой замполит, мы обсуждали программу концерта, и он вдруг сказал, что неподалеку находится разрушенная синагога, не хотим ли мы ее осмотреть.

Это было ужасное зрелище. Разбитые фрески, обгорелые остатки священных книг, загаженные свитки... В углу мы заметили маленькую тору, очистили ее от грязи и забрали с собой. Она прошла с нами по фронтовым дорогам до 1946 года. А потом посылкой отправили реликвию в синагогу Черновцов. Думаю, она там находится и сегодня. Мне кажется, что и в Израиль мы добрались благодаря ей.

— Мечта вашего отца и ваша об Израиле осуществилась через тридцать лет. А о театре мечта маленькой девочки Евы тоже осуществилась?

— Ой, ненадолго! Счастье продолжалось всего несколько месяцев. Весной 1948 года по возвращении из армии я танцевала в кордебалете Черновицкого еврейского театра. А в сентябре 1948 года театр закрыли. Была еще

одна попытка — когда открылся филиал Киевского театрального института. Один актер, из Вижницы, кажется, увидев меня, воскликнул:

«Я шось не поняв! И жиды тут?»

На этом моя учеба закончилась.

Уже потом, в аэропорту «Бен-Гурион», когда мы сошли с трапа самолета, чиновник, беседовавший с нами, узнав о нашей с мужем профессии, сердобольно воскликнул:

— Ой, ва-вой! Что же вы будете здесь делать?

— Петь и танцевать! — смело и самонадеянно ответила я

Разве он мог предполагать, что муж мой, еще ни слова не знавший на иврите, будет ставить танцы в ансамбле «Анахну кан» («Мы здесь!»), с которым мы с триумфом будем выступать в большинстве стран Европы, в Канаде, в Южной Африке... И что в 1991 году в московском концертном зале «Россия» публика вместе с артистами ансамбля целых три часа будет петь и плясать на сцене и в зале!

— Ева, вы считаете, что ваша жизнь состоялась?

— Недавно ездила по приглашению в Яд ва-Шем*. А потом долго бродила по Иерусалиму. Я не впервые в этом великом городе. Но с первого посещения у меня впечатление, что я здесь родилась, что я жила здесь всегда. Здесь живут мои дети и внуки. Здесь живет мой Народ. И этот город у меня никто не отнимет!

В небольшом зале отеля в городе Кирьят Моцкин праздновали Пурим. Веселились все от души. В разгар вечера на пятачок, который мы отвоевали для танцев, вышла Ева. Наступила тишина.

Боже мой, как она пела! Куда подевались прожитые годы! Лукавые искорки в глазах, чуть хриловатый, очень приятный голос... И задорные песенки на французском, румынском, русском, молдавском, на идиш... Какой шарм! Не каждой даже именитой певице под силу так владеть залом. Сосед, сидевший справа, шепнул мне:

— Подумай, какой она была лет сорок назад!

Я подумал о том, что пока живы такие, как Ева, никому не разорвать цепь поколений. Сам факт, что она жива, что живут ее дети, внуки и правнуки — проявление высшего героизма.

И что мой народ — не жертва. Он — герой.

Все остальное — вторично!

1 мая в музее Холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме будут звучать имена. Имена тех, кто сгорел в огне Катастрофы.

Память для этого нам и дана,
Чтобы хранили мы в ней имена.
Чтоб не распалась цепочка времен —
Вся эта цепь состоит из имен.
Тянется нить через все времена —
Все имена,
Имена,
Имена.

* Яд ва-Шем («Вечная память») — мемориальный комплекс в Иерусалиме, посвященный жертвам Холокоста.

Мне б уехать в деревню...

Мне б уехать в деревню. Подальше в деревню.
Но не в ту, где вдоль улиц пионы и розы,
А в деревню, где ивы над речкою дремлют,
И где пахнет рассвет молоком и навозом.
Стол в саду нам накроют цветастой клеенкой.
Под моченые яблоки и помидоры
Мы с хозяином будем вкушать самогонку,
И вести разговоры, вести разговоры...
И польется беседа о том и об этом:
Лишь бы не воевать, и что все мы под Богом.
И потом с паутинками бабьего лета
Унесутся куда-то тоска и тревога.
Мне б уехать в деревню. Какую? Не знаю.
Пусть название будет как можно напевней.
Чтоб потом уже, как о потерянном рае,
Целый год вспоминать о далекой деревне.

Время

Нам кажется: мы поднялись над всеми.
Не докричишься, даже не зови.
Нам кажется: еще осталось время
Для радости,
для счастья,
для любви.
Нам кажется: мы царствуем в природе.
И жизнь дана навечно. Не займы.
Нам кажется, что времена проходят.
Увы!
Они стоят.
Проходим мы.

В четыре руки мы играем грусть

Давно все знаю наизусть...
Не кажется мне это странным,
Что мы с тобой играем грусть
На стареньком фортепиано.
И мы во власти тех стихий,
Что сердце схватят и отпустят..
И сочиняются стихи
В очарованье тихой грусти.
Четыре прыгают руки
По белым клавишам и черным,

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

И мы, желанью вопреки,
Их ритму следуем покорно,
А мне все кажется: рванусь
Из колеи той черно-белой.
Увы! Но ты играешь грусть.
И ничего здесь не поделать.
И день за днем, за годом год —
Мы оторваться не сумели.
Живем в плену минорных нот
На черно-белых параллелях.

5.07.2008

Лара Леггатт

Лара Леггатт (Лариса Чекаловская) родилась в Краснодарском крае. Училась на отделении структурной лингвистики Харьковского университета. Несколько лет работала переводчиком. В 1998 году в Москве вышла первая книга стихов «Мутабор». С того же года проживает за границей: сначала в Ирландии, а несколько лет назад переехала в Италию.

* * *

За репликой первой туман — золотое с пурпурным,
И ныне, и присно ты верен единственной теме.
И жребий высокий — согласно высоким котурнам —
Таинственно шепчет с высот: «Начинается время...»

Твое. Настоящее. Мир навсегда изменился
С тобой, инородцем, привитым к подножию мира.
Как нищ и нелеп суетливый старик за кулисой,
Которого ты опрометчиво выбрал в кумиры!

...Когда это было? Не верьте, ведь это чернила.
А нам бы слова изменить, перегнули мы палку.
И пауз в избытке, и капель дождя на перилах.
Да боязно как-то. Не песня, а выкинуть жалко.

Оставьте, учитель. На черта нам эти котурны?
Не стоит кичиться клеймом и железом острожным.
Мы этой страной болеем бездумно и бурно.
Нельзя предсказать нас, и значит, убить невозможно.

Раскатом сирени расцвел корешок фолианта.
Язвительны тени всемирно известных мерзавцев.
И лист недочитан, я помню, так было у Данта.
Нам рай не по вкусу. Мы будем к своим пробиваться.

Сквозняк

На подоконник опершись
Рукой, он нервничал и охал,
С утра оклеивая жизнь
Бумагой для оклейки окон.
И мгла, и века круговерть,
И ртутный столбик — минус двадцать.
Как бы опять не заболеть,

Больной страны не наглотаться.
Взгляд ровен и затылок сед.
Под старость разучился плакать.
Будь он смелей на сотню лет,
Он победил бы эту слякоть.
Он бы подался в Древний Рим,
Как в отпуск, заручившись гримом,
Как отрок, захлебнувшись Грином,
В блистающий унесся мир.
Теперь же ничего не надо
Патрицию и королю
С периодом полураспада,
Вскачь устремившимся к нулю.
Не возвратит давнишний бред.
О нем теперь напоминают
Ночь, холод, подпаленный плед,
Бессонница. И жизнь иная,
Ворвавшаяся через щели,
Мечта, зацепка, божий знак,
Непредсказуемый сквозняк...
Спи-спи. Укройся потеплее.

* * *

О музыке одной полгода тосковать
И в хаосе любом угадывать ее.
Есть скрипка, чтобы жить, и альт, чтоб умирать.
На что растратить нам могущество свое?

О музыке одной. Как будто нет людей,
Которых можно звать, любить или спасать.
Пригладь свои вихры и черный фрак надень.
Есть скрипка, чтобы жить, и альт, чтоб умирать.

* * *

Какая скука — класс! — в геральдических львах,
В цветистых розанах и с византийской каймой.
И запах амбры стоит в отворотах и швах,
И легкий ворс в ночи отливает луной.

Они ее бутафорили из пустяка,
От собственной нечестивости оторопев.
Четыре крест-накрест сколоченных сквозняка —
Роза ветров.
Роза и крест.
Роза и лев.

Но к ним не прививается эта земля.
Чужою силой, как змей, свернулась в крови.
Мятеся дух, срывается с фитиля
На сквозняках беспамятства и любви.

— Мне скучно, Фауст! —

— Ты что-то попутал, бес!

Скорей сбывай фальшивый свой золотой,
Скорей бросайся жизни наперерез,
Не то опять захламят ее
красотой!

* * *

Мир устоялся — такое случилось несчастье.
Если я в этом виновна — то только отчасти.

Мир устоялся — жестоко, безумно, нелепо.
Звезды не падают, намертво вмазаны в небо.

Синее небо, обвисшее вяло и сонно.
Желтое солнце лоснится над травкой зеленой.

Ах, переводчики, вы — перелетные птицы.
Переведите меня на другие страницы.

В ранние царства, вы помните, в самом начале,
Где боевые слоны, как органы, звучали.

Где апельсиновой ночью на пастбищах лунных
Были у розовых скрипок стреножены струны.

Мир устоялся! Я даже согласна на жалость,
Только б не вечно изгнание мое продолжалось.

Что мне здесь делать, где все заедают пластинки,
Где все кометы давно пребывают в починке?!

Письмо из метрополии

Как справедливо замечено, все меняется и течет.
Я там тебе, уезжая, оставила полный отчет
О подделанной нами свободе.
Положила на видное место — и наутек.
Все равно ведь срок действия, как ты знаешь, истек
Подписки о неизмене, невыезде и неуходе.

Я оставила в конюшне Гобоя.
Он был в дружбе с тобою. Он был мне в масть.
Рыжий черт, и характерец еще тот, и коварство.
Кто, как я, ему даст порезвиться власть,
Кто не побоится с него упасть,
Кто, как ты, отдаст за него полцарства?

Там еще у тебя осталась пара роликовых коньков,
Пара цветных открыток, датированных январями,
Пара снимков слегка фривольных, пара трусиков, пара носков,
Старый велосипед, крашенный в красный цвет,
Старая бээмвэшка с разодранными ноздрями.

Я тут внедрилась в клан игроков в лото, ходоков в бистро, ездоков в метро,
Посетителей модных курортов, покорителей сложных кроссвордов.
И я трезво смотрю на вещи. Хоть и ноет еще нутро.
А мой пьяный корабль мчится в сторону льдов и фьордов.

У нас тут солнышко двадцать четыре часа,
Мы зашили дисконтные карты в широкие пояса.
У меня все в порядке. Я как никогда постоянна.
Тут у нас что ни день, то день, что ни ночь, то ночь.
И я твердо стою на ногах. А моя своенравная дочь
На лолитиных роликах мчится в сторону Свана.

Каштан

I.

Вот мы и свиделись.
Здравствуйте, милый,
Пастырь свободы моей острокрылой,
Столько изранившей преданных рук,
Здравствуйте, друг.

Вы изменились так мало.
Я вас таким вспоминала.
Вы и теперь еще в самой поре,
Старое дерево в старом дворе.

Как молодые тюльпаны красны,
Как этот маленький тополь франтит!
Береговая охрана весны
Белыми залпами в небо палит.

Сколько же воску для вас отвели
В этом году?

Мне бы хотелось, чтоб вы зацвели
Раньше. Но я подожду.

Мы полюбуемся маем,
Старое повспоминаем.

Что вы сказали, мой друг?
На руки к вам? Да ведь люди вокруг.
Разве вот дочку туда подсажу
И, прислонившись к стволу, посижу
Здесь, у подножия детского мира.

Как просыпается вам поутру?
Сучья не ноют? Не ломит кору?
Утром здесь все-таки сыро.

А у меня новостей-то и нет.
Тот же ободранный велосипед,
Тот же под мышкою томик стихов,
То же смешение языков,
Те же замашки и та же печаль.
Ну да что там,
C'est normal.

II.

Эти деревья, любимые нами,
Что они делают с нашими снами?
Что они прячут в своих именах?
Вспомни фанданго и город Бам-Грана,
Кажется, там не хватало каштана
В плюсквамперфектных его временах.

Антропоморфная их пятипалость —
Милая, добрая Божия шалость:
За руку взять, отвести нас домой.
Вечный cache-cache, ожидание встречи.
Ведь для кого-то горят эти свечи
Каждой весной.

Но иногда я их вижу в кошмарах.
Карлик горбатый блуждает в каштанах,
Майскою ночью по лунной дорожке,
С белой гусыней в плетеном лукошке.

Много каштанов растет у пруда.
Карлик с гусыней приходят сюда.
Каждую ночь приходят опять
Травку с волшебным цветочком искать.

Это для нервов хорошая встряска,
Юного Гауфа дряхлая сказка,
До отвораченья счастливый финал.

Травку нашли, было снято заклятье,
Папа гусыню расколдовал,
А от красавца легко откупился,
Тот наконец-то домой воротился,
Новое тело и новое платье,
Мутгер прозрела, отец ликовал.

То-то веселья!
Да ладно, проехали!
Где только юность? В скорлупках ореховых?
Все эти годы в беличьей шкурке
Прыгать у печки в подземной конурке?
Вместо весны и улыбок людских
Милое общество свинок морских.

Что нам теперь тот волшебный цветочек?
Наши гусыни над нами гогочут.

Кончилась сказочка. Можно смеяться.
Свечи горят, и кошмары не снятся.
Я прихожу под каштаны опять.
Но не спешу над цветком наклоняться,
Счастье вдыхать.

Максим Грановский

Максим Грановский, 37 лет, живет в Санкт-Петербурге, поэт. Публиковался в газетах, журналах, альманахах: «Литературный Петербург», «Родные просторы», «Гончарный круг», «Аврора», альманахах «Илья», «Молодой Петербург» и других. Лауреат литературного конкурса им. Александра Невского, Илья-Премии за 2007 год.

Наводнение

Когда вода заполнит город
До линий крыш,
А рыбы: меч, пила и молот,
Как сквозь камыш,

Протиснутся в больные души
Живых домов,
И статуи склонят послушно
Базальт голов,

Когда атланты на Мильонной
В деталях рыб
Услышат, как воды зеленой
Звучит верлибр,

И ляжет в Атлантиду мозга
Венцом оград,
Медузами заплывший космос,
Мой Летний сад,

Тогда аквариумы улиц
Вмиг оживут.
Тмутараканским князем устриц
Воссядет спрут.

Стихия, округляя формы,
Пошлет покой.
Всплывет беззвучием проворный
Кометный рой,

Какая б ни была погода, —
Дождливый век.
С крыш невозможно прыгнуть с ходу
Всем на ковчег.

Утопленником тянет пальцы
В день наугад,
Закрученный в безумье танца,
Престольный град,

Мне бы спасти его сегодня.
Но за грехи
Его в тиски зажал Обводный,
Меня — стихи,

Нева, бродившая, угасла,
Рекой вина,
Водоворотами ужасно
Удивлена,

Я нынче сам, сдурев от ветра,
Пройдя сквозь хмарь, —
Потерянный возница света,
Дельфиний царь,

Со дна доставлю на поверхность
Венки газет,
Плыву в холодную безбрежность
Грядущих лет,

Где Ноев знак Адмиралтейства
Зарей блестит,
Где, кто спасет нас от злодейства,
Тот сохранит.

*

(Аквалангистом буду знать,
Что там, на дне, в музее Русском,
Амебы спорят об искусстве, акулы атланты акриды
Плывут «Помпею» смаковать!

Наступит непременно час
Погибнуть от дождя ли, стужи,
Плывет в кораблике свеча,
Уносит душу.)

* * *

Я снова превращаюсь в дождь.
Я падаю на чьи-то руки
Слепым предчувствием разлуки
И снова превращаюсь в дождь.

Я снова превращаюсь в снег.
И сердцем быстро холодею,

Но ни о чем не сожалею,
Я падаю в двадцатый век.

Туда, в материковый лед,
Отполированный смертями
Родных людей и новостями,
Как в темный сорок первый год.

Там, где-то в центре ледника,
Среди застывших отражений,
Я жду, когда резец сомнений
Во льду прорежет старика.

Весной его туман во мгле
Теплом непонятым растает,
Размешанный утиной стаей,
Раз нет мне места на земле.

* * *

Моих друзей, которых нет,
Слепить бы из песка,
И каждому шепнуть: «Привет»,
Потом сказать: «Пока»!

Сказать: «Спасибо вам за все,
Что сделали вы мне,
За то, что шили мы узор
Шагами на Земле,

Что защитили вы, любя,
От чудища молвы,
И что от самого себя
Меня спасали вы.

За великанов ветряных,
За уведенный флот,
За «Наутилус» и за стих
Про вересковый мед».

* * *

Хочу тебя нарисовать,
Свечения продлить минуты
На фоне прошлогодней смуты.
Пусть время повернется вспять.
Хочу тебя нарисовать.
Но красок рядом нет, а «кисть»
Ладошкой трогает железной

Не холст цветной, а легковесный,
Поделенный на клетки лист.
Я все же трепетно хочу
Нарисовать твой образ словом.
Последней верой коронован,
Я собираю по лучу
Неугасимый свет прощенья.
В руке предмет для отраженья.
Перо похоже на свечу.

* * *

Сентябрь Иванович пришел,
И глянул в окна
Отрывистым косым дождем.
И клен расстегнут,

Качаясь, пьяненьким стоит
Над человеком,
И плачется ему навзрыд,
Обобран ветром.

И вспомнил я, что минул год
Длиной в столетье,
С тех пор, как некий обормот
Прочел в газете,

Что комната сдается здесь,
Под рыжей крышей,
Но, впрочем, стих о том, что есть
Места повыше.

Что облако над головой
Летит, Иваныч,
Что ты умчишься, чумовой,
А я останусь.

* * *

Если ждет тебя дорога
В тихую страну,
Где нет власти и налогов,
Где, как в старину,
Все вокруг друзья и братья,
То не забывай,
Как слепым пошел за счастьем,
В неизвестный край.
Ты не забывай о чуде
Жизни на земле,

Вспомни, как встречались люди
В несветной мгле,
Как они любить учили
Все, что рядом есть,
Переплавили в горниле.
Оказали честь.

Как ты строг стал и спокоен,
Как стал дорожить
И сомнением и тоскою,
Выучился жить.
Вспомни их, стоявших рядом,
А потом иди.
Встречи горькая награда
Будет впереди.

* * *

Автобус с грустными глазами,
Куда спешишь?
Ты отчего, взмахнув крылами,
Не улетишь,
Из непролазной паутины,
Как стрекоза,
Стуча деталями стальными,
Раскрыв глаза?

Пусть пассажиры видят небо
В медузах туч,
Пусть невзначай ударит слева
Закатный луч,
На Моховой или Шпалерной,
Средь куполов,

Ты их высаживай трехдверно
В цветы домов,
К своим привязанностям, кухням,
Тревожным снам,
К любимым так прорваться трудно
Из пробок нам,

Пусть в фантазиях хотя бы
Перелетим,
Через бугры, через ухабы,
В туман и дым.
А ветер сплелся с адресами,
Прости, прости,
Улитка с грустными глазами,
Нам по пути.

Елена Карелина

Родилась и живёт в Санкт-Петербурге. По образованию юрист. Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». С мая 2003 года публикует стихи на национальном сервере современной поэзии «Стихи.ру». Автор «Рифма.ру», «Что хочет автор». Член Международного союза писателей «Новый современник».

Стихи публиковались в литературно-художественном альманахе «Мой Петербург» (Рязань, 2005), в литературных сборниках: «Новая волна» (СПб, 2006, 12-й выпуск); «Времена года» (Рязань, 2006); «Под одним небом. Серебряный поэтический сборник, 2006 год» (СПб, 2007); «Философия иллюзий» (Самара, 2007); «Лепестки ромашки» (Новосибирск, 2008); «Песни у людей разные. Сборник песен и стихотворений» (Самара, 2008) и в литературном альманахе мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым. 2/2008».

СИПНЗ ЗОНА «А»

70 град. 42 мин. с. ш. 54 град. 36 мин. в. д.
СИПНЗ ЗОНА «А» (ЧЕРНАЯ ГУБА)
апрель—октябрь 1958 года

* * *

странные понаехали люди на острова
что им тут делать если здесь только камни да соль
мхи да лишайники по весне расцветают
почему бы им не цвести если живые и солнце им в радость

скалы
на них наши гнезда от века
шумно
грохот воды ударяющей в камни
тысячи тысяч нас носится в небе
гнезда в которых мы были когда-то в скорлупах
гнезда в которых новые птицы пока еще сонные яйца

люди по берегу ходят люди спуют суетятся
что же задумали странные странные люди

вспышка
так солнце не всходит
ветер горячий горячий
мхи и лишайники пламя сжирает

волны кричат разбиваясь о камни
плавятся камни и воют от боли

тысячи тысяч нас падает с неба
перья в огне
были мы птицы
икарами стали

гнезда в которых

странные люди не знают как их бумерангом достанет сегодня
в их завтра которое корчится будет сгорая скорлупкой

наши птенцы ковыляют на кульях бескрылые твари
в песочницах пусто

* * *

СИПНЗ — Северный Испытательный Полигон Новая Земля,
еще — «Объект-700».

С 21 сентября 1955 г. по 24 октября 1990 г. на полигоне было проведено 132 ядерных взрыва.

Женский профиль

Читай меня...

А есть ли я?

В стихах

на пики строк нанизанные буквы
безмолвны и черны — холодным углям
неведомы ни страсть, ни боль, ни страх.

...Я из болот, куда Иван Сусанин
гостей из Польши не водил гулять,
где елочки столетние скрипят
и стонут.

Страшно?..

Злыми голосами

выводят совы по канве узор,
ярмо и дышло связывая крепко.

Косит напрасно на меня соседка —
наш не закончен молчаливый спор.

...А над Россией грянули морозы.

Империя двуглавого орла
взъярилась, закусила удила.

Тревожно-ложным запахом мимозы
усыпаны края стеклянных луж.

Свобода — женский профиль на конверте.

Поверху штемпель суриком: «Не верьте...»

Соседский муж и хмур, и неуклюж,

служа на почте или на таможене,
неважно — где, но все же — у руля,
когда на бал со схода корабля
ему явиться должно и возможно.
А я с болот поеду ли куда?
Из этих сказок вырваться на волю...
Меня толкает знак, ему, бемолю,
все — слишком громко.
Таяние льда —
грядущее — пугает до икоты —
цветущий мак, пылающий костер...
Опасней всех донныне фантазер —
реликт, эндемик.
Сонные зиготы
кого таят и до какой поры?
Мутация из дочернобльской эры
в своих желаньях не имеет меры...
Легко нарушить правила игры
и вывести весы из равновесья:
Всего лишь профиль женский на конверте...
Поверху штемпель суриком: «Не верьте,
у нас самих свободы — хоть залейся».
Залейте зенки, дамы-господа!
И будет вам — по прошенному вами...
Над мячиком рыдающая Таня,
что сделали с тобой твои года?
Мы все из детства своего — ты помнишь? —
из деревень, упрятанных в леса.
Нам обещали бабки чудеса
и радуги ложились на ладони...
А вывернулось всё совсем не тем.
Рассказывать, помилуйте, нет мочи.
Соседка Таня голову морочит,
читая Эндрю *.
Не решить проблем.
...А над Россией грянули морозы,
которых мы, как и всегда, не ждали.
Горит окно — пожар, пожар в подвале...
...Тревожно-ложным запахом мимозы
усыпаны края стеклянных луж.
Свобода — женский профиль на конверте,
поверху штемпель суриком: «Не верьте...»
Не верь ни карканью, ни крикам клуш!
Читай меня, я — есть...

* Сэр Эндрю Джон Уайлс — английский и американский математик, доказавший теорему Ферма.

Обычные глаголы

Живым — живое, неживым — прости.
Всё то, о чём мы так и не сказали...
Жизнь — киноплёнка?..
Кто же нынче в зале
Тарашится, мнёт фантики в горсти?
Бежит за дядей Митей баба Шура,
Эй, Шура, поднажми, не заробей!
Василий запускает голубей —
Такая вот Кузякина натура...
Нет, нет, пришли иные времена,
У лимонада запах кока-колы.
Гимназия на месте нашей школы,
Там девочка — за партой у окна —
Почувствует неясное томленье —
Нежданное — от майского луча.
Щека горит, ала и горяча...
Так горячи и бархатны оленьи
Весенние — в предчувствии — рога,
Когда до гона — летнее затишье.
Ручей — прозрачен, а цветы — бесстыжи.
Застыла в небе точкой пустельга.
Значенье точки кажется понятным:
Нельзя казнить.
А миловать?
Нельзя!
Осенним днём заплещет стрекоза
Пред муравьем.
Пожухлых кочек пятна,
Явив себя из торфяных болот,
Напрялят лихо ягодные бусы...
Соседок рой ведет свои турысы —
Как не вести, коль знают наперёд
Кому на юг профком дает путёвку,
Кто будет с кем, а с кем кому не быть.
Так мойры тянут и свивают нить —
Кому из джута, а кому — из шёлка.
Заря покрасит край твоих одежд.
Здесь, впрочем, нет особого различья:
Сенаторов пурпурное величье —
Лишь слабый блик на радуге надежд.
...Цветущая опунция Раиса...
Что странного?
Что с именем она?
Даём мы нашим кошкам имена...
И голубям...
И рыбкам у Матисса.
Я красное любила и люблю.

Мою панамку в крупные горохи
Короною считают скоморохи.
Равна синица — в небе — журавлю.
Ноябрьский птах, напившийся свободы,
Взлетит легко с гранитных берегов
В сезон дождей.
Из рыбных четвергов
Свистящий рак по трапу парохода
Шагнёт и крикнет:
— Вот она — земля!
Весна души — пионы или маки.
На голубом рисует белый маркер —
Язык граффити — сердце и тебя.
... И это всё под звуки радиолы,
Под шелест лент магнитных и кино.
Ты понимаешь, так немудрено:
Писать и жить.
Обычные глаголы.

Алексей Филимонов

Поэт, критик, литературовед, родился в 1965 г. в г. Электросталь Московской области. Окончил факультет журналистики МГУ и Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. Автор книги лирики «Ночное слово» (1999, СПб) и статей о современной литературе, а также работ о художественном мире Владимира Набокова. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Ольге Олгерт

А мы с тобой в саду блаженном,
не упдаемые вниз,
но восходящим отраженьем
пред Словом воспарили ниц.

Забрав и яблоко с собою,
звездой дрожащее во сне.
Но пробуждение земное
Звездой пронизано вдвойне.

* * *

Зима — стекольщик городской
вставляет в раму над рекой
закат, и трубы, и мосты,
чтоб это разглядела ты,
мой Ангел, в чистое стекло,
где небо дышит так легко.

Развоплощенность

Уйду в воздушство заката,
куда глядела мать моя,
где я ей грезился когда-то
вне имени и бытия.

Она теперь давно с иными,
и перепаханы холмы,
и ласточки в безмолвной сини,
как обнаженные умы.

И кто-то, мыслить обреченный
о проходящих, и вослед
бездонности развоплощенной
нарвет из белых гроз букет.

По лезвиям

Великая поэзия,
великие стихи.
Космические лезвия
скрестили женихи.

Возмездие, созвездия,
поэзия, цветок.
Нет чуда бесполезнее,
чем отсвет среди строк.

Облако Баха

Хорал

Бах над Невой?
Ослышаться нетрудно,
но ангелы поют его псалмы,
заливом переложенные чудно,
так что не спят пытливые умы:
— Откуда свет? —

Из труб хрустальных бездны
возносит проникающей волной,
подхватывая облик бестелесный,
кто тенью слыл, а станет — глубиной.

От ума

Мыслью (мышью) по Древу...

Мы — беженцы ума,
гонимого вне срока;
колючая зима
и проволока с током.

За горизонт смотри,
за лай собак истошный:
сиреневой зари
заката отсвет прошлый.

Аврора налегке
приветствует смятенье
на бедной высоте
немотствующей тени.

Мышление как зло;
и белка, прорастая,
в небесное дупло
торопится, сквозная.

Доверие

Забудьте о душе. Доверьтесь духу.
Он не предаст. Не упадет в ничто.
Ребенок или древняя старуха
одним единством связаны — как То,
чему нет имени, и чистотой хрустальной
объемлет шар зияющих щедрот.
Душа поет о лире изначальной,
и в дух — за амальгамы — перейдет.

Светлым

*И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя!*

А. Блок

Только чистому святы зори,
окровавленные поднесь.
Неприступному — явь во взоре
отворенных из тьмы небес.

И свободным — благая милость
прорицать, не карая, сны;
и Вселенная, что влюбилась
в лихолетья твоей страны.

Больше Охты

Роет ветер
над мостом себе тоннель.
Он не сладок и не светел —
это хмель.

Большеохтинский:
отрава пустоты.
Охнешь ртом набитым —
ветром немоты.

Пробирает до утробы,
до креста.
Ты распят на сваях злобы —
тень моста.

Только в башне
загорается слеза.
Ветер страшен,
но бесстрашны паруса

проплывающих
над Охтой кораблей.
Тот, мерцающий,
зывается Водолей.

Развевание

Мои развеваны пространства
у набережных синевы.
И нет ни камня постоянства
в граните солнечной молвы.

Небесный шпиль Адмиралтейства
то застывает, то поёт,
скликаая в бездну лицедейство,
высвобождая от пустот.

А ты, душа, почти живая,
в задумчивой голубизне,
куда возносят звон трамваи,
куда и я зову во сне.

Ныряльщики земли

Мне кажется, что мы плывем в земле,
слезами умягчая наши души,
в камнях, степи, в болотах и в золе,
еще не растворяемые сушей.

Пока не всплыли в пепел пустоты
и чернозем так ласков поневоле.
Цепляясь за осенние кусты,
под небо выбираемся от боли.

Сжигая ворох листьев в зеркалах,
дремотой обступивших и огнями.
Нырнем в песок — и хрустнет на зубах
песчинка, что вставала между нами.

Юлия Резина

Родилась, училась и работала в Москве. Является финалистом международного турнира поэтов русского зарубежья 2004 «Пушкин в Британии». Стихи и проза публиковались в альманахе «Истоки» (РИФ Москва «РОИ», 2004). В журнале «СЛОВО-WORD» (Нью-Йорк) напечатана повесть «Рукопись». Является участником трёх поэтических сборников, изданных в России, стихи публиковались в лондонской газете «Русская мысль». В 2006 году издала сборник стихов «Колодец сновидений» и книгу повестей «Ветер времени».

* * *

*...аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, pogodно...*

Б. Пастернак

Волшебный том! Перелистну ещё страницу,
Покуда ночь звенит дождём, пока не спитесь.
Ещё одну, ещё одну о нашем счастье
Предам крылатому огню в каминной пасти.
Кто грациозней саламандр, скажи, станцует
Души пожар, полночный жар, вкус поцелуя,
Крепендо страсти, морок сна, обмана петли,
Любви оставив письма на тёплом пепле!
И кто вплетает в посвист выюг озноб угрозы:
«Нам жизнь дарована, мой друг, в летальной дозе».
Кто унесёт последний страх и голос кроткий?..
А дождь в стеклянных башмаках всё бьёт чечётку.

Стасе

Женского голоса тайна и таянье —
Жалоба? Милость? Мольба?
Горные выси и бездна отчаянья.
Дар поднебесный. Судьба —
Катится, мчится пустой колесницей —
Некому крикнуть: «Постой!»
Горло хрустальное, слёзы —водица...
Пой, моя славная, пой!
Пой, вызволяй мою душу мятежную
Из-под пожарища лет!
Эти атласные гласные нежные,
Голос, впадающий в свет,

Сердцем лелеемый, горлом и нервом —
Тремоло, стон, ворожба...
А предназначено: «Примою первою!»
Перечеркнули: «Судьба!»
А предназначено: «Звёздные бездны!»...
— Пьяной пирушки гульба...
Мне-то что́ делать — единственной трезвой?!
Дар поднебесный. Судьба...

* * *

Пусть бежит себе — не гляди, дитя,
На две амфоры золотой песок...
Паруса мои — дни, года летят —
Ручеёк судьбы, волосок.
Власяница — жизнь: не взлететь, вздохнуть!
Лишь любовь вольна — всю до донышка —
От меня — тебе — её вечный путь!
Забирай, лучись, моё солнышко!
Мы с тобой, дитя, из одной горсти —
Как пролился свет от Творца отцу...
А теперь тебе будет что́ нести,
Будет что́ отдать своему птенцу.
Мы с тобой, дитя, от одной волны,
Как накроет, вдруг, так пойдёшь за ней...
Всё смотрю — смеюсь: как ещё малы
Твои пальчики для моих перстней.

* * *

На призыв неведомой печали,
На манок любви невыразимой,
К свету Слова, бывшего в начале,
День и ночь уходят пилигримы.
В одиночку, всяк своей тропюю,
Позабыв обеты и вендетты,
За бесценным даром — за Строкою
Пилигримами идут Поэты:
Над сырой сиренью, лугом росным,
Мимо рук единственной любимой,
Мимо дружб, родительских погостов —
Следом в след Судьбы неумолимой...

Брат не перережет горло брату,
И сердца не обеднеют Светом,
Потому, что все придут обратно —
Ходоки за дальний берег Леты.

* * *

Ну, что не летишь, мой крылатый,
Над этой застывшей водой?
Давно не кормила утратой?
Давно не поила бедой?
А полные звёзд в полнолуние
Корзины созвездий не в счёт?
Душа моя — птица-вещунья —
Забывшие песни поёт.
Не веришь. Иль этого мало?
А то, что стоит у дверей
Тот князь — молодой да удалый,
Что рухнет на тризне моей.
Ещё и в глаза не глядели,
Ещё не коснулся руки,
А в сердце взлетели качели,
А в горле проснулись стихи,
И море волну раскачало —
Замыслило грозы, дожди.
Крылатый мой, это — начало.
У нас небеса впереди!

* * *

Снега, сугробы, первая лыжня,
Летающая, как почерк гимназистки,
Домов продрогших каменные списки,
В камине песня древняя огня.
Подснежники сомнамбулы—весны —
Сгущенье грёз и нежного тумана,
Смятенье чувств от взрыва до обмана,
Букварь небес, провидческие сны.
Рулады птиц, рулоны облаков,
Озоны гроз июльского разлива.
Жизнь молода, как страсть — нетерпелива,
Слова, слова — бессмертьем мотыльков.
Осенний день, как слёзы в ноте «соль».
Судьбы цыплята: дети, строфы, тризны...
Беспутная и страшная отчизна —
Фантомная, пожизненная боль.

* * *

Так ласточки воздух взрывают,
Воздушную режут руду,
Так, окая, рты разевают
Безмолвные рыбы в пруду,
Так эхо — всё тише и тише —
Кого? Не тебя ли зовёт?
Так нега цветения вишен
Пчелу поднимает в полёт.
В земные уловлена сети,
Незримо тоскует душа,
А в рощах бесчинствует ветер,
Листвы вороха вороша.

Ирина Акс

Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Ленинградский Горный институт, в многотиражке которого и дебютировала в 1977 году со стихами и статьями. С 2000 г. живёт в Нью-Йорке. Стихи и проза публиковались в журналах «Автор» (Санкт-Петербург), «Гайд-Парк» (Лондон), «Галилея» (Израиль), «Метро» (Нью-Йорк), «Обзор» (Чикаго), «Чайка» (Балтимор) и других, в альманахах «Теремок», «Санкт-Петербург — 2000», «Неразведенные мосты», была редактором и составителем сборников «Наш альманах» (1-й и 2-й выпуски), «Нам не дано предугадать...» (3-й выпуск). Автор книги стихов «В Новом Свете» (2006).

Эпилог

...А однажды ранней весной Белый Лебедь вернулся туда,
где покосились курятники на берегу пруда
и пронзительно зеленели крапива и лебеда.

Его не сразу, но вспомнили на родном его птичьем дворе
и старый кот у забора, и старый пес в конуре.

Сестры-утки и братья-селезни отворачивались, ворча:
«Уродец-то наш отъехал на заморских харчах!»
Потом спросили: «Ну что, от тоски по дому зачах?»

Ты там одичал изрядно и набрался дурных манер!
А мы тут неплохо устроены, каждый — на свой манер.
Вот мама-утка, к примеру, минувшей зимой была
главным украшением рождественского стола!»

Он взлетел.
Немного помедлил, над отчим домом паря,
выдохнул полной грудью сладкий воздух родных широт
и успел напоследок услышать: «Смотрите-смотрите! Кря-кря!
Там, высоко в поднебесье —
это что еще
за урод?»

А король-то...

А что в королевстве? На том же параде
король выступает все в том же наряде.

Все в целом обычно: ведь долгие годы
костюм короля не выходит из моды.

Успело привыкнуть уже население:
любуются в пятом, поди, поколенье

все тем же костюмом на том же параде...
Сменился король — но менять не пора-де

наряд: в королевстве традиции крепки,
гордятся потомки, как некогда предки —

а впрочем, возможно, уже не гордятся,
но, как ни крути, в бунтари не годятся.

Соседи с советами лезут — а на ко,
мол, выкуси! Все ж попривыкли, однако,

и всем надоела костюмная тема:
ну да, ну обычай, такая система...

Лишь умные мальчики, праздничным строем
идущие вместе в колонне по трое,

скандируют хором согласно сюжету:
«Король-то — одетый! Король-то — одетый!»

Песенка

То пальцы — мимо струн, то голос — мимо нот,
то вся моя судьба свернет куда-то мимо...
Налево, блин, — Сенат, направо, блин, — Синод,
а прямо — судоверфь петровская, вестимо.

Вот я иду-бреду в каком-то там году,
еще мне мало лет и денег тоже мало,
но раз уж я пришел — зовите тамаду,
чтоб наши голоса тоской не зажимало!

Все прошлые года неведомо куда
из Ладоги в залив слезой повеятели.
Моих нелепых лет провисла лабуда,
чтоб их, как акростих, читать по вертикали.

Направо, блин, — Синод, налево, блин, — Сенат...
Ну что там про любовь и про Петра творенье?
И песня — мимо нот, аккорды — невпопад,
и вся моя судьба — нелепое явленье!

Автопортрет

Ну да, все нормально, и возраст — не в счет,
я вроде пока не на том рубеже,
но все мои плюсы — со словом «еще»,
а все недостатки — со словом «уже».

Еще мне семь верст, как и прежде, не крюк,
и ночь мне покуда отраднее дня,
но выросли дети вчерашних подруг,
и все они батеи зовут не меня...

Пока не успел растолстеть-облысеть,
покуда не выдуло дурь из башки,
но первых морщин понатянута сеть,
и я уже вряд ли рвану за флажки.

Увы, благородный налет серебра
облез, как с прабабкиных вилок «фраже» *...
еще я почти что такой, как вчера,
но завтра, похоже, я буду «уже»...

Кризис среднего возраста

Диптих

1. Елена (20 лет спустя)

Я все еще Прекрасная Елена!
Мне безразличны распри и хула.
Я — Красота, которая нетленна,
Я — Молодость! Но молодость — прошла...

В заштатной нашей Трое — пыль и скука,
И жизнь однообразна и бедна...
Заходит Менелай ко мне без стука
И предлагает скверного вина...

Все обветшало, все пришло в упадок,
Парис, Ахилл — смешные старики,
Обрюзгший Менелай нетрезв и гадок,
Но я — прекрасна! Веку вопреки!

* В лаборатории фирмы «Фраже», основанной Иосифом Фраже в Варшаве, гальваническим методом наносился слой серебра или золота на посуду из неблагородных металлов. Недорогая посуда «под серебро» была популярна в России вплоть до 1910-х гг.

Я выхожу — насмешливо и гордо,
Блестящая прежней юной красотой,
И тем же оффенбаховским аккордом
Легко пленяю зал полупустой.

2.

«О, как на склоне наших лет...»

Тютчев

На склоне? Брось! Какие наши лета!
Седеющий — ты все еще плейбой.
Небрежен, мил, слегка навеселе ты,
и — стоит только захотеть! — с любой,

и верхняя ступенька пьедестала
еще твоя, и ты — на высоте!
...но зеркало с утра глядит устало,
и о любви стихи уже не те...

Михаил Садовский

Михаил Садовский широко печатается в периодике разных стран мира. В США в переводе на английский вышли книги прозы писателя: сборник рассказов «Stepping into the blue» («Голубые ступени», 2004), повесть и рассказы «Those were the years» («Такие годы», 2006). В настоящее время готовится к печати в России книга размышлений «Шкаф, полный времени», основанная на беседах писателя с соавторами, друзьями — выдающимися людьми страны второй половины XX и начала XXI века. В Америке переведен и готовится к печати роман «Before it's too late» («Пока не поздно»). Общий тираж изданий М. Садовского превысил 13 миллионов экземпляров.

Как хотела мама...

Господь не хранит своего добра — не бережёт людей. Создал он тварь себе подобную, расплодилась она без меры и забыла про него. Тут он ожесточился, и, хотя не к лицу бы, вроде, Всевышнему да всеильному, мстить стал... а то как понять, что допустил он такое: огородил колючкой кусок города, вышки с пулемётами по углам воздвиг, согнал туда людишек, народ свой избранный любимый, и убивать стал...

И Бенчик угодил туда — за проволоку, в гетто. Когда война началась, пять ему сравнялось. Росточком не вышел, да другим взял: писать, читать, лицо воспроизвести карандашом с натуры, стих с одного маху запомнить — делать нечего! Шустрый мальчишка получился! А когда стали уводить навсегда из-за проволоки на вечную волю, взмолилась Фира, мать его, Господу своему всеильному, чтобы спас он сына её, проявил мудрость и силу. Не за себя просила, не о счастье хлопотала, о самом простом, что миру завещано: о жизни. И смиловился Всевышний, надоумил простым советом: собери, мол, золотишко, какое достать сможешь, и не устоит человек перед ним, что попросишь — сделает тварь, мною соданная. Так и вышло! И то сказать: нация гуманистов на страну пришла, как бывало, княжить хотела, вот и натянула колючку да столбы поставила, а сквозь ворота, где Ганс стоял, раз в неделю Степана пропускала в гетто, водопроводчика с тележкой, на которой пакля да обрезки труб, краны с ключами разводными, тройники, угольники да банка с солидолом... народа-то много в домах осталось! Это ведь сказать просто: убить, а когда их столько? Тяжёлая это работа! Доставалось гуманистам... а пока не перемёрли все и в ров не легли, ими же самими выкопанный, их кормить да поить надо — ясное дело... а иначе только хлопоты лишние, если эпидемии да мор поголовный — совсем не справишься...

Ну, как предрёк Господь, так и вышло: загрузил Степан-водопроводчик Бенчика в тачку свою, набросал сверху пакли да концов нитяных — с виду тряпьё и тряпьё. Высыпал он Гансу у ворот половину золотишка, что Фира в

платочке незаметно ему в карман сунула, и вывез мальчишку по Немиге до Комсомольской, а потом свернул вниз, докатил до улицы Горького, благо мальчишка крошечный, да и под уклон дорога, а там завёз во двор и остановил по-тихому: «Вылезай, пацан, прибыли! Как обещал я матери твоей, вывез я тебя за проволоку, а дальше сам ступай, а уж какая судьба тебе жидовская выпадет, один Бог знает! Вот и ступай с Богом. Всё».

Чего судить его? У самого трое в избе неподалёку сидели — их ведь тоже поить-кормить, спасать надо! А этого пришили к ним — всем конец! Сразу гуманисты дознаются, что чужой, приبلудный он — больно уж смугл да черняв у Фиры мальчишка вышел... Как она сгнула, в каком рву лежит — никто не скажет, много тысяч их там, пробитых пулями, собралось вместе... а Бенчик...

Помнил крепко мальчишка, что сказала мама ему напоследок главное: «Людей бойся! Хоронись от них!» Помнить-то он помнил, а как прожить без людей, не знал, не умел ещё... вот он сидел и думал об этом в подвале разбитого дома.

Было не холодно. Краюха за пазухой (ещё мамина) смешно щекотала кожу. Звезда проглядывала в какую-то дырочку сквозь гору кирпича и ломанных досок и, когда он чуть сдвигался, подмигивала ему: «Держись, Бенчик! Мать не подведи! Умишком-то шевели, и всё получится!»

На третий день, когда стемнело и напоззли тучи, он выбрался из развалин и пошёл в сторону леса, что начинался через поле сразу за городом, и, когда добрался до него, тихо побрёл по опушке. За кустами его мудро было заметить — хоть локтями мерить, хоть вершками, а и метра в нём не было. Он старался не заблудиться и всё время выглядел какой-нибудь огонёк в той стороне, откуда ушёл, а в городе всегда ну один-то фонарь да найдётся, даже в таком, на который опустился мрак европейского гуманизма... Бенчик старательно обходил окраину, чтобы войти в город с другой стороны... было сыро, чёрное небо, чёрная земля, чёрный лес, отгородивший мир, и желток в этом однообразном цвете, еле уловимый желток, за который он держался взглядом, чтобы идти по кругу...

Когда стало сереть, Бенчик устроился на узловатых коленях старой сосны, чуть углубившейся в чашу. Он свернулся калачиком, уткнул нос за полу, осенние листья бесшумно опускались на его серое ворсистое пальто, один умудрился даже протиснуться за хлястик с одной оставшейся пуговицей, прикрыть её своей жёлтой ладонью и выставить вверх черенок, как часового, но напрасно — даже в двух шагах нельзя было распознать что-то живое в этой куче тряпья, забросанной листьями...

Пробудился он только к вечеру, как бывалый лесной зверь, выдвинулся снова к опушке и потянул носом воздух — пахло печным дымком, сыростью лежащего перед ним поля и необъяснимым ночным предзимним холодом. Крыши крайних домов чуть поднимались над горбом земли — он уже знал, что она круглая, и, если вот так, как он, брести всё прямо, прямо и прямо, то обязательно вернёшься в то место, откуда ушёл...

Бенчик тихонько поднялся на три ступеньки и постучал в дверь. Огонёк в окне за занавеской поплыл в его сторону, потом исчез, скрипнула где-то внутри другая дверь, в щели у косяка пошевелился желтый лоскут огонька, и послышался сиплый голос:

— Кто там?

Бенчик сильно напрягся, чтобы выдать звук, ведь он не разговаривал уже три дня... только во сне с мамой...

— Дядя, я один... откройте... — ответа не последовало, и он продолжил: — Правда, один... кушать хочется... — Огонёк погас, но мальчишка не успел расстроиться, дверь чуть приоткрылась и зрачок мелькнул в щели, ясно было, что взгляд не мог нашарить просившего! Бенчик опустил на одну ступеньку, чтобы дверь могла распахнуться, и теперь его голова чуть возвышалась над полом крыльца... — Я тут, — тихонько шепнул он, боясь, что спасение снова скроется. Дверь чуть приоткрылась на голос, и неодолимо высоко в проёме появилось лицо в туго обтягивающей косынке. Женщина опустилась на корточки, высунула голову и одно плечо, внимательно окинула обозримое уже тёмное пространство, протянула руку, молча ухватила мальчишку за воротник и потянула к себе. Так она и вела его сквозь тёмные сени, держа в другой руке лампу с прикрученным фитилём, которая не производила никакого света, кроме жёлтого круга на щелястом низком потолке.

— Мама, вы гляньте, кого Бог послал, — сказала она и перекрестилась на икону. За занавеской, отгораживающей угол, раздалось кряхтение, и высунулось лицо старухи абсолютно такое, какое уже рассмотрел на крыльце Бенчик...

— Ты кто? — услышал он такой же сиплый голос и не знал, что ответить, потому что врать ещё не научился, а говорить, что из гетто, мама не велела...

— Ладно, — сказала более молодая, — ладно...

У Агрипины Бенчик прожил три дня и вышел от неё накоротко остриженный, в туго обтягивающем голову штопаном вигоневом платке, длинном, ниже колен, платье, опускавшемся из-под полы его старого палтишка, у которого женщины выпоролы хлястик с одной пуговицей и перепоясали его никудышным зелёным ремешком в талии... Эта новоиспечённая девочка спустилась с крыльца, низко поклонилась двум женщинам, выглядывавшим из двери, и неумело перекрестилась, как два часа подряд учила Агрипина...

Наука жить не приходит с книгами, и чужой опыт хорош в умных дискуссиях. Есть врождённая сила, заставляющая цепляться за жизнь до самой последней секунды, до самого последнего вздоха и дорожить возможностью двигаться, видеть и слышать, любить, любить этот мир, на какие бы муки он ни обрекал... И иногда Господь, чтобы доказать своё могущество, ведёт избранных через все тяготы, муки, невыносимые лишения, будто возвещая миру: «Смотрите! Вот пример вам, чада мои! Нет неодолимого, когда стремишься и просишь меня помочь!»... Только непонятно, зачем таким жестоким способом утверждаться тому, кто и так всем миром принят за его великое начало...

Зверёныш-мальчишка необъяснимым способом угадывал опасность. Он повзрослел к зиме и набрался опыта. Разбил крайние кварталы города на квадраты и для себя называл их «помойка», «загон», «могила», «болото»... Невесёлые предметы окружали его, но они очень помогали соблюдать три главных правила: не воровать, не ночевать две ночи подряд в одном месте, как бы хорошо там ни было, ни с кем не дружить и ничего никому не рассказывать... Инстинкт превращал малыша в маленького неприручаемого

хорька, способного перегрызть любую преграду, просочиться в любую нору, рвать, кусать, царапать, бить любое живое существо без предупреждения, если оно подозрительно или хочет схватить его... он научился смеяться и плакать внутри, терпеть и никому не верить, слышать еле уловимое и видеть еле видимое, ходить с носка на пятку бесшумно и неопределённо, спать так, чтобы слышать любой шорох, и, просыпась, не шевелиться и не поднимать сразу веки... чтобы себя не обозначить...

Человеку, живущему в нынешнем, считающем себя цивилизованным мире, покажется всё это приукрашенной выдумкой, несусветным бредом, неумной торговлей чувствами... Да, да! Не верь, читатель! Так проще жить и простить бывшее! Не верь, пока с тобой не случится то же! Ведь мир не стал ни щедрее, ни просторнее! И стаи гуманистов обзавелись орлиными клювами и крысиными мозгами!

Не верь, читатель! Но ТАК БЫЛО!

У выдумки есть один дефект — она, как ни старается, очень похожа на правду!

У правды дефектов не бывает! Она изначально и неподкупна!

Город освободили 3 июля 1944 года. Бенчику исполнилось восемь. К счастью, он почти не подрост, наверное, потому что так легче было выжить. Этому умению у него стоило поучиться, но он не делился ни своими секретами, ни памятью о прожитых годах... и лишь одна страсть осталась у него неизменной и неустоленной: он хотел читать! Он ещё просто не знал, что принадлежит народу Книги...

Скорее всего именно эта тяга и привела его в детский дом: он хотел пойти в школу, в класс, чтобы писать, решать задачки и читать, читать книги! Не рваные страницы, изредка попадавшие в развалинах, подвалах и на помойках, а настоящие толстые книги, которые, оказывается, живут огромными табунами в отдельных домах!

Он сам, не зная, на что решается, пришёл в детский дом. Он, не привыкший ни к какому порядку, ни к оседлой жизни, ни к любой дисциплине, кроме своей, внутренней, не понимающей, что значит просить разрешения, чтобы встать и выйти из комнаты, когда ему хочется, на улицу, когда ему надо, исчезнуть на два-три дня, когда ему необходимо... Он, не боящийся на свете ничего, надеющийся только на себя, верящий только себе и поступающий только по своему внутреннему побуждению даже среди пережившей, как и он, войну малолетней гольтыбы улицы, выделялся своей неприимой жесткостью, пружинной силой и независимостью... Друзей у него не было, он жил по законам стаи, но, если его что-то не устраивало в ней, терпел до поры, чтобы наконец уйти от внешнего давления и сделать по-своему...

Чувство окружающей опасности не притупилось у него и в новое мирное время, а даже усилилось с тех пор, как пришлось в анкете при вступлении в комсомол написать, что три года находился на оккупированной немцами территории, и потом многократно в течение всей жизни заполнять этот ненавистный пункт и объяснять, как это вышло...

Он писал в «Листке по учёту кадров» Бенцион Израилевич Лихман, хотя ему многие советовали стать Борисом Игоревичем и фамилию себе придумать поудобнее. Он ничего не говорил в ответ, хотя сформулировать своё упрямство не мог — знал же, что советчики правы...

Отец нашёл его через четыре года, а ведь всё было так близко! Рядом! Но сначала после Победы была ещё Япония, потом неспешная демобилизация — возвращаться-то было некуда, ведь сказано же было ему официально, что жена и сын погибли в гетто...

Но радостными после встречи были лишь первые несколько месяцев их совместной жизни. Бенчик никак не мог приспособиться к новому укладу. Он навсегда остался там, где тысячу пятьдесят три дня и ночи верил только себе и надеялся только на себя.

Родительское слово мало что значило для мальчишки, его ордена и планки вместо гордости рождали детский вопрос: за что их дали, если они так долго не могли победить осмеиваемых и презираемых фашистов?!

Его вопросы вообще всех ставили в тупик и на лекциях, когда он всё же пробился в столичный университет, невзирая на анкету, которая оголтело голосовала против него, и дальше во всё время его удивительной научной карьеры. Его невероятная память и парадоксальный ум не предполагали ни завистников, ни соавторов, ни соперников. Академические ступеньки ложились сами под его ноги, покрытые ковровыми дорожками!

Научные враги и бюрократы ненавидели его! Заказные пасквилы надо было измерять не единицами, а тоннами, но...

На приглашения иностранных академий, предоставлявших ему для работы лучшие лаборатории и кафедры, он даже не отвечал. Учеников называл всех по имени и отчеству и никогда не подставлял свою фамилию к их рефератам, статьям и диссертациям...

Казалось, что он не желает вписаться в мир, окружающий его. Не летал немецкими самолётами и ни разу не посетил Германию, даже её просоветскую часть, не садился в «мерседес», не выносил немецкую речь, а когда читал Ремарка... плакал. Знал наизусть тома Гейне, а когда хоть одна нота Вагнера или Брукнера вырывалась из приёмника, вырывал вилку из розетки, будто эту музыку из своей жизни...

И с женщинами ему не везло... вернее им с ним...

Первая жена не ушла — сбежала после двух лет слёз в одиночку, недель молчания рядом и категорического отказа мужа иметь детей... он принял её уход, как должное, долго ночевал один в своей большой квартире и всех «приходящих» никогда не оставлял на ночь.

Эн Эн вошла в его независимость неожиданно, просто и навсегда. Будто зашла женщина в дом и, даже не присев, стала мыть посуду, снимать для стирки занавески, вытирать пыль... она на самом деле ничего не делала этого — в доме было чисто и аккуратно, но она привнесла в него покой и уют.

Он даже предложения ей не сделал, а просто сказал, когда она под вечер встала с кровати, натянула платье и стала собираться:

— Эн Эн, останься, пожалуйста... мне никогда не было так хорошо... и ни с кем...

Она отложила сумочку, села на край дивана, скосив колени в одну сторону, и смотрела на него. Он чувствовал, что должен сказать ещё что-то, но никак не мог сообразить, что?! И невпопад добавил:

— Хотя ты... Вы, наверное, знаете, что у меня сравнить было много возможностей...

— Мало ли у кого что было, — спокойно возразила Наталья Николаевна. Она оперлась руками на диван, медленно полусогнутая поднялась с него, потом распрямилась, взяла сумочку и на ходу вполоборота улыбнулась: — Я скоро вернусь...

— Ключи у двери на крючке, — не провожая, напутствовал Бенчик...

Теперь он летел над Атлантикой, как всегда в первом классе, и стюардесса, которая уже хорошо знала его лицо и лично, и по мельканию в телевизоре и в газетах, делала ему выразительные пассы глазами...

— А знаете, — сказал он и улыбнулся: — я бы, пожалуй, выпил...

— Пожалуйста, вино, коньяк, бренди...

— А что, у нас нет водки?

— Водки? — удивилась она, глядя на его густую седую шевелюру. — Есть, конечно...

— Нашей простой русской водки... чтобы на бутылке было написано такими крупными буквами «ВОДКА» и сквозь бутылку они просвечивали...

— Боюсь, что такой не найдётся... — замялась стюардесса. — А у вас сегодня день рождения?

— Юбилей... — он ухмыльнулся внутренне, сам себе... Действительно, юбилей 3 июля, и никто в мире не знает об этом, и он всегда в этот день бывает один... потому что не с кем больше вспомнить... шестьдесят лет прошло...

— Я сейчас поищу!.. — засуетилась стюардесса...

Он закрыл глаза и вернулся в тот день... Солдат в новенькой пилотке, вот он спрыгнул с грузовика...

— Миленькая ты моя, родненькая, — причитал он, поднимая Бенчика и прижимая к себе. — Мы вернулись! — Слёзы стекали по его морщинам вдоль носа, — Ты прости нас, что шли так долго, прости, родная... ну теперь уж вырастешь, детей народишь... милая ты моя, — и он плакал так неудержимо и открыто, что Бенчик тоже заплакал первый раз с тех пор, как протарахтел в тачке водопроводчика сквозь ворота гетто... в первый раз за все дни, когда, бывало, отходившие в тепле застывшие ноги и руки так саднили, будто из них вытягивали кости, когда открывший дверь хаты и вглядевшийся в детское лицо мужик ударом сапога в грудь сбил его со ступенек крыльца и зыкнул: «Не доби́ли ещё вас, жидовня настырная! Пошла вон, сука, пока не сволок в комендатуру!», когда живот так сводило от голода, что рёбра с обоих боков сжимались и будто хотели раздавить его тело, когда хотелось вцепиться в морду мальчишке, который выхватил изо рта скибку хлеба на глазах у пожалевшей его женщины, вцепиться и рвать его голодными зубами... когда он заставлял себя не вспоминать маму и так сжимал кулаки, что нестриженные чёрные ногти до крови пробивали кожу...

Он всю жизнь хотел и не мог забыть это. Всю жизнь... и это было сильнее всех его знаний, званий, наград, открытий, статей, книг... встреч, интервью, президиумов, женщин...

Он выжил, как хотела мама...

23 июля 2007 г.

Лия Чернякова

Родилась в Харькове. С 1995 живёт в Милуоки (США). Стихи пишет с 1987 года, в 1995 г. участвовала в издании харьковского альманаха «С девяти до июля». После переезда в Америку печаталась в журналах, газетах и альманахах Милуоки, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, в коллективном сборнике «Нам не дано предугадать». Автор книги «Записки на сфинкском». Член Клуба писателей Нью-Йорка.

Прочитай

Прочитай мою жизнь навывлет.
 Бура чувств, разгулявшись к ночи,
 Пониманием стекла выбьет
 И осколками многоточий
 Разлетится по чистым душам,
 Расцветая бутоном алым.
 Сосчитай мои дни — так мало —
 Прочерти мои сны — так нужно —
 И, стирая тире мостами,
 И, меняя мечты местами,
 Прочитай меня, прочитай меня,
 Пролистай эту боль дотла.
 Чтоб осталась одна зола.
 Чтобы сын из пепла извлек
 Неокрепший мой уголек.

* * *

А. Г.

«Уходят из Варшавы поезда...»

А.Галич. «Кадеш»

Гадание по Гданьску на руке.
 Дорога в горе. Ветром налегке.
 Клянется город птиц на языке
 Пророчьем —
 Чьей головой на тонком стебельке —
 Как тихо плачет память в узелке,
 Чем проверяют числа на песке
 На прочность.
 Нам не туда, ты знаешь, не туда.
 Уходят из Варшавы поезда,
 А мы на тот не можем опоздать,

Протяжный,
Как лай сирен в горячих проводах,
Как взгляды, провожающие вдаль,
Где жжёт лучи знакомая звезда
Под стражей.

Strange desires

Дай мне молчаньем снега
Посеребрить гортань
Горького смеха
В легкие — от застоя.
Если на той земле
Я чего-то стою —
Дай мне уйти,
Сполна оплатив счета.
В бешенстве, в нищете
Или на щите,
В сорванный крик конвоя
Иль в лапах хвои —
С теми, кто мне с лихвою
Не дал покоя —
Дай расплатиться вволю
За свет и тень.
Звонкою птицей,
Жаром осенних крон,
Лестью,
Фальшивым шёпотом падших листьев.
Дай мне навстречу солнцу
Рвануться ввысь, и,
Слезы смахнув крылом,
Обронить перо.

Грустное

Исправленному — не верить,
Затравленно бьется пульс,
И все закрытые двери
Вас вышвырнут — в добрый путь.
Там вновь расстоянья кратки,
Но скорость — равна нулю.
И все ночные загадки
Вам хором солгут: «Люблю».
Звезда ли желтее солнца
Взорвется в ответ в груди?
Где тонко — с ней в тон сорвется,
А вам пора уходить.

Без цели и без оглядки
На небо. Без сил. До дня,
Когда ваша боль украдкой
Придет в себя — сквозь меня.

* * *

Ангел печали
Сел на мое плечо.
Мятным ли чаем
Гостя не угощу?
Смятой полынью
В горькую полынью
Память ли хлынет
В гончую жизнь мою.
В пальцах холодных
Стынет клочок зимы,
Почерк уродлив,
Сложен. И слог размыт.
Темною стаей,
Готикой старых букв
Смотришься в тайну —
И узнаешь судьбу.
Клинопись дыма,
Яростный зов огня,
Рук, что поднимут
И подтолкнут меня.

Марина Генчикмахер

Родилась в Киеве. Окончила Киевский политехнический институт. С 1992 г. живёт в США (Лос-Анджелес). Стихи публиковались в украинских, российских и американских периодических изданиях, альманахах и антологиях. Лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси — 2007». Член международной творческой группы «Тайвас».

* * *

Лишь во сне, по привычке,
Вижу я журавлиные стаи.
Невелички-синички!
До чего же мне вас не хватает.

Я б вам сыпала крошки,
Я б сосульки с кормушки снимала,
Мне бы счастья с ладошку..
Но, наверно, и это немало.

Тут ни снега, ни вьюги,
Тут и птицы другого калибра.
Тут пусты мои руки,
А над ними порхают колибри.

* * *

«...Ну вот и вернулись твои журавли»

Юрий Левитанский

Ну вот и вернулись твои журавли
Из сказочных странствий...
И тычутся в ждущие руки твои,
Курлькая: «Здравствуй!»...
Ты слышишь зовущие их голоса,
Пытаясь постичь их,
Как будто упали к ногам небеса
В обличии птичьем.
А взгляд твой, как прежде, скользит в облаках:
Оттуда ли пасть им?
И счастье, в твоих оказавшись руках,
Как будто — не счастье...

* * *

В стране зеленых пальм, где осень — только сон,
Бред перелетных птиц и перелетных граждан,
Где чудится домам одноэтажным,
Что каждый в мире счастлив и влюблен —

Живем отнюдь не сказочные мы,
Угрюмо чужеродные, другие.
Болезненно лелеем ностальгию,
Досадуем на то, что нет зимы,

Со смутным ожиданием вины
Мы ждем того, чего мы ждать не вправе —
Когда же сказка чуждой стороны
Вновь обернется нам знакомой явью...

* * *

Ицхаку Скородинскому

Счастье и боль с географией связаны слабо:
В обетованных песках Беершевской пустыни
Плачет еврей, как медведь, искалечивший лапу,
Кровью своей запятнавший колючую льдину...

Плачет еврей: неподъемны скрижали талмуда,
Сух опреснок, и кровит изнуренное сердце,
Да и повсюду ты чудо, которое «юде»,
Жалкий чудак, по которому плачет Освенцим...

Даже крешенный, — иуда ты, жид и пархатый;
Бритый, — похабно пройдутся по выбритым пейсам;
Весь от любви изойдешь, но носатого брата
Может полюбят, но будут жалеть за еврейство.

Даже на землях, которые обетованны,
Каждая мелочь тебе, как заморское чудо,
Ты в этом мире чужой, как пейзаж Левитана,
И возвращенье твое, как начало галута...

Смотришь на быт и обычай сынов Моисея,
Как на индейцев смотрел Америго Веспуччи.
Вот и помянешь за стопкою водки Рассею,
Там, как ни туго, а все-таки чем-то да лучше...

Розовой кажется старая школьная парта,
Там обзывали жидом, но хотя бы по-русски...

Вот и заплачешь, как плакал художник с Монмартра,
Тоже еврей — итальянский, а может, французский.

Виснет в шкафу черно-белым полотнищем талес.
Плачет еврей от того, что он миром не признан,
Плачет о счастье, которое не состоялось,
И об отчизне, которая вряд ли отчизна...

* * *

Иточке

Принцесса, баловница, любившая пирожные,
А также рисовавшая на тротуаре мелом,
Она была капризною, была неосторожною,
И правила дорожные учить не захотела.

Принцесса, баловница задумала картину,
Сперва на тротуаре, а там за бровку — прыг!
А на проезжей части, на самой середине,
Принцессе повстречался огромный грузовик!

Принцесса, баловница, почти что королева,
Сегодня мыслит здраво и всех вас просветит:
Переходя дорогу, сперва смотри налево,
Потом смотри направо — а то тебе влетит.

И будь ты очень смелая, умелая, проворная,
Раскрашивать дорогу — артель напрасный труд!
По тротуару ходят недобрые придворные:
Поймают, отругают и к маме отведут!

А может быть, к счастью...

1.

То назад по белой пене, то вперед...
До чего же нынче волны хороши!
Эта птица беспокойная снуёт,
Как пернатое подобие души.

Но пернатому подобию не до нас,
Для нее мы просто пара дурачков.
Проницательно холодный птичий глаз
Равнодушен и нацелен на рачков.

Зарываются в кипящие пески
Студенистые прозрачные тела,

Ну а мы не углядим в песке ни зги:
Вот такие невеселые дела!

Это мы готовы вечность напролет
Рыться в рифмах то хороших, то плохих,
То назад нестись по жизни, то вперед
Лишь за проблеском надежды на стихи...

Но стихии нашей птице лишь среда,
А закон своей среды поди нарушь!
И креветка ей не жертва, а еда,
И стихи почти невыносимая чушь.

То назад по белой пене, то вперед
Без оглядки на бессмертье и тоску...
А поэты... Их и черт не разберет,
Что их носит по намокшему песку...

2.

Позабудь обо всем, что томит твою душу и жжет,
Хватит нянчить пристрастие к страсти — ведь в этом увечность!
Пей лекарство пространства, глотай освежающий йод,
Всеми порами впитывай мерно шумящую вечность...

Наблюдай, как бегут от волны и бегут за волной
Длинноклювые птицы, клочки голенастого пуха,
Постарайся расслышать дыхание жизни иной,
Вытесняя смятение духа смирением духа...

Оберни подсознание мерцающее-зыбкой фольгой,
По которой скользили глаза и суда твоих предков,
И нахлынет на время особый высокий покой,
И накроет тебя, как прибой накрывает креветку...

Но занозой останется странная, смутная боль,
Та, что будет саднить и на фоне бессмертных пейзажей.
Это было с тобой, это есть и пребудет с тобой,
Перед этим бессильна микстура пустынного пляжа...

3.

Сред касаясь воздушной и водной,
Скользит этот парус.
Изменилась эпоха: вчера на сегодня,
Маршруты и статус.

И, как знак перемен
(Ведь ушли капитаны под парусом рваным),
Рыжий ражий яхтсмен
Достает бутерброд, шелестя целлофаном.

Он мурлыкает в такт модным клипам,
Ворчит телевизор...
Да, не гордый фрегат и не клипер,
Но парус, как вызов:

Невесомый лоскутик,
Как крылышко чайки задорной,
Им по-прежнему крутят
Течение, ветер и волны.

Он, влекомый судьбою,
Мерцает то дальше, то ближе.
И мечтатель у кромки прибоя
Остался таким же.

И, как клинопись птиц на песке,
На листке на бумажном
Старый код о любви и тоске...
Остальное неважно...

4.

Я пытаюсь настроить себя на писанье стихов,
На волну и на птицу, которая ищет креветок.
Узкий, остро отточенный клюв так безжалостно меток,
Что невольно жалеешь попавшихся мокрых рачков...

Я пытаюсь под рифмой собрать и шуршащие ритмы.
И мерцающий блеск бесконечно-текущей фольги...
А стихия живет по известным лишь ей алгоритмам,
Не желая звучать резонансом к размеру строки.

Эта белая пена — как груда изысканных кружев,
Я детали сбиваю в картину, мазок за мазком:
Пирс, надутые чайки, фигура заснувшего мужа
И смешная девчонка с пластмассовым синим совком.

Как она своевольна, дочурка моя, и капризна:
Что захочет, то будет, кричи на нее, не кричи...
Ей стихи не нужны — ей достаточно собственной жизни:
Солнце, чайки, песок для того, чтоб лепить куличи...

Вот внезапно над нею взлетает фонтан из песка,
Я едва успеваю её ухватить за запястье...
И, как сотни песчинок, рассыпалась к черту строка,
И стихи, к сожаленью, забыты... А может, и к счастью...

Василий Тюренок

Родился в Санкт-Петербурге, окончил Ленинградский кораблестроительный институт.

В США с 1992 года. Живёт в Нью-Йорке. Это его первая публикация в печатном издании.

* * *

Ты знаешь, а здесь океан так солон
И даже на вид беспросветно горек,
Мычит по ночам, как Шаляпин соло,
Скрипит, как пружины солдатских коек,
А я выхожу поскулить с ним вместе,
И, глядя на блики огней Эмпайра,
Клянусь этих рыжих шуршащих бестий,
И с ними шуршу — полудохлый стайер —
Слезливый мерзляк-ветеран-грэйхаунд,
Дурной чемпион инвалидов гонок...
А знаешь, так скучен зимой Мидтаун,
И слой облаков по-французски тонок.
Здесь водка сладка, а вино сонливо,
И в бэйсменте бойлер всегда исправен,
А чайки, кружась над Гудзон-заливом,
Орут, точно их ущемляют в праве...
Каком? Да клевать пирожки с помойки,
Толстеть и вальяжно ходить по пляжу,
И Чижик, пьянчуга с Фонтанки-Мойки,
За все их свободы «Смирнова» вмажет...
Ты знаешь, здесь ночи густы, как дёготь,
И путь над водой недоступно млечен,
Но слышно, как кто-то, беззвучно-лёгок,
По угольным волнам идёт навстречу.

* * *

Ты покрасилась в рыжий, кленово-коралловый цвет —
В масть катавшей детей у метро грустноглазой лошадке,
И метель шелестела фатой на счастливом лице,
Я привычно ворчал — не апрель красоваться без шапки.

А снежинки вплетались с шуршанием в пламя волос,
Мельхиоровой взвесью влюблённо парили-искрились,
И февральское небо отчаянно было мало
Для оживших стрекоз и не в срок распустившихся лилий.

Уползала зима с тротуаров в колодцы дворов,
По щелям забивалась, кляня всё живое на свете,
И гоняли её по окраинам стаи ворон,
Отмерзали в степи ямщики, просыпались медведи.

Растекалось по городу солнце созревшей хурмой,
Накрывались столы во дворах, поднимались рюмахи,
И, не зная, что он чудотворец, тащился домой
Обделённый судьбою, усталый седой парикмахер.

Я тебя уведу

Я тебя уведу в полнолуние некошеным лугом
По медвяной росе на русалочий берег реки,
Где кувшинки качаются — Стенькины лёгкие струги,
Маки алым закатом и тающим льдом васильки.
Я тебе покажу, как рассветом дымятся опушки,
Как плоды диких яблонь на иглы ложатся ежу,
И печально ведут хоровод незабудки-подружки,
Раздарив свою нежность бесчувственному камышу.
Ты услышишь, как в полдень густеющий воздух застонет
Монотонным сопрано извечной пчелиной тоски,
И как сонная рыбка всплеснёт в изумрудном затоне,
И как грустно поют, наливаясь мукой, колоски.
А когда тихий вечер опустится лёгкостью строчек,
Соберёт в свои сети обильный небесный улов,
На обрывке закатного неба чернилами ночи
Напишу тебе сказку трёх вечных ромашковых слов.

Город на песке

В устье чёрной реки, сам не свой и ничей,
Посеревший от плесени тонких интриг —
Трижды имя терявший подросток-старик —
Дремлет город, ослепший от белых ночей.

Этот город, уснувший в ладонях болот,
На чердачных высотах, в колодцах веков:
То швыряет на мёртвый гранит седоков,
То бредёт в поводу, как задумывал Клодт.

Давит эхом парадных и небом глухим,
Топит в сером тумане и липком дожде,
В материнской заботе, свежесваренной вражде,
На воде и в судьбе замыкая круги.

Этот город, как небо, как тысячи Мекк,
Как кораблик из горькой сосновой коры.
И влипают в смолу фонарей комары,
И въедается в душу и валенки снег.

На изорванном шпильями тельнике кровь
Запеклась облаками — обрывками снов...
И на зыбкой подушке намытых песков
Он лежит в перекрестье времён и миров.

* * *

Замёрзший город тысячей дымов
Вгрызался в плоть темнеющего неба...
Сползал закат, оранжево и немо,
По грудам обескровленных домов.
Сейчас мелькнёт привычный силуэт
Реки — окаменевшей белой ленты —
И хрипнет капитан: «О'кей, уи лэндин»,
Поверив совокупности примет.
Забьётся лайнер — пойманный лосось —
Шасси царапнет пулковскую взлётку,
Щемяще-невесомо станет в лёгких,
И ты — в разрыве часовых лассо.

И вновь огни шоссе, дрожанье век,
Стенанья лифта, руки и дыханье...
Изъеденный, как стаями пираний,
Балтийским ветром недоносок-снег,
Разводы реагентных лекал,
Терзающие мученицу-обувь...
Ещё хоть пару дней — мечтаем оба,
Но снова где-то снизу облака
И бледный после праздничной возни,
Увитый мишурой нетрезвый Питер —
Как мальчик, затаившийся в обиде —
Опять я прилетал, но был не с ним.

Бомж

Снова на западном без перемен...
И на восточном не менее муторно.
Небо чернеет закупоркой вен,
Месяц тоскует заброшенным хутором.
Тысячи лет между двух огоньков...
Тысячи вёрст, никуда не стремящихся.
Шаг от купели к пластмассе венков...
Водка, костры из поломанных ящиков.
Ценность имеют лишь память и плед.
Имя — ничто, а тем более отчество...
Мёд поражений, бесчестье побед,
Тихая гавань... луна... одиночество.

Вик Стрелец

Родом из военной семьи, родился в Казани, детство провел в Минске, юность — в Одессе, далее — ТашГУ, журфак (Ташкент), потом — факультет ПГС в Ростове-на-Дону. Работал в газетах и журналах Ташкента, Ростова-на-Дону, Вильнюса, Клайпеды, большей частью в литотделах. Семь лет издавал литературный журнал «Шапка альманаха» в Одессе. Изданы первые две книги трилогии «Фигура души» и книга «Витки спирали», написанная вместе с Натальей Каневской, книга стихов «Слепая ворожея»... Живёт в штате Нью-Йорк, на Лонг-Айленде.

Девочка на шаре

На задворках умерших миров,
в суетливых междометьях звездных,
малые арканы * из таро
встали в ряд. Притихший этот строй
сохраняет древние угрозы...
И скрипит гусиное перо.

Верно, там преамбула творца,
и блуждает путаная тема
в мимике потухшего лица,
бледного, быть может, от винца
из лозы капризного Эдема...

Рыцари, шуты и короли... —
раскидала старшие арканы
ворожея черными руками
в звездной феерической пыли,
и стоят в пентаклях истуканы.

Вот король — сутул, вихраст, упрям,
что-то в спицах... что-то быстро вяжет...
Ба! Да это Лир из старых драм —
спицы утащил у норн и пряжу,
и сучит судьбину... дочерям...

Растянулся в бесконечный нуль
кривобокий эллипс мироздания,
и мятежный мир с пути свернул,

* Арканы — карты таро; старшие арканы — козыри карт таро.

мир во сне насилует весну,
ржавыми взнуздав ее уздами, —

Вот и нет весны... Но есть мираж —
малое подобие экстаза,
А на картах все-таки марьяж,
потому-то мир бросает в раж,
в тайное мерцанье хризопраза...

Девочка... синеющий дворец...
Нет, не Бесс в тиши попутал Порги,
просто закупил весну купец —
тамошний непроходимый спец
беспросветных рукописных оргий.

Но, возможно, устоит она —
девочка на выдуманном шаре.
Только бы ее не утешали,
только не несли бы ей вина
олухи Эвтерпы из кошары...

Что так вздуло капюшоны змей?
Что фортуны обруч провернуло?
Пустоты параметры измерь —
лабиринта пятигранный улей —
и войти в бездонный склеп сумей.

Там углов невычисленных много,
несуветных множество стихий...

Богово вернуть бы надо богу,
вот мы и несем
к его порогу
наших душ
безбожные
стихи.

Нежные лешие

Как много, как славно об осени писано.
Видно, и правда она — царица
царства особого, цвета лисьего...

Известно, что многим обычно снится
летом зима, зимою жаркие
летние дни... Только осень, по сути,
ни с чем не сравнима. И знают парки,

что вечные предрешенные судьбы
вернее вяжутся, когда — листопады...

Никто не мечтает о стылой осени,
но когда однажды она наступает,
такая трогательно и безнадежно бб́сая,
золотая такая и простоволосая,
все становятся вдруг охмелевшими,
языки — косными, девушки — с косами,
а в дубравах нежные заскорузные лешие
пишут стихи и на луну посматривают,
не зная ни Босха, ни Третьего Рима...
и в это время моя родина, моя патрия —
неповторима...

Последний романтик

Последний романтик за синей звездой
отправился в дебри далеких галактик,
ушел от земного постылого вздора,
приладив к стопам семилыковы лапти...

Вдали разливался мерцающий космос
невнятным свеченьем угасших желаний,
и линии кто-то вычерчивал косо
растоптанных судеб на старческой длани

небес. Проносились шурша метеоры,
взьерошены, словно коты перед боем,
и звуки пространств в басовитом миноре
шептали о вечном. А небо — рябое

вблизи оказалось, в нем дыры и камни,
и пыль завихрялась вокруг, и погибель;
антенны прижав, затерявшийся кибер
кружил сиротливо кругами, кругами;

и так же кружился заблудший скиталец...
Темно, одиноко. И не повстречался
никто...

Это было похоже на танец,
на первую — четверть — гигантского — вальса, —
в котором — утеряны — две — остальные...

Единообразии вечной дороги...
Но что там, вдали? Не мерцанье луны ли?..
Да нет! Ни луны, ни сияний, ни Бога...

И в гневе ногою ударил романтик
в небесную твердь, и с собою не сладил —
в сердцах помянул он и черта и мать,
и стал лихорадочно черкать в тетради:

Земля... как прекрасны поля и озера,
и Бога следы в многословье сказаний...
и осени краски, и снежная заметь...
и девы любимой манящие взоры...

и нет ничего, кроме рая земного —
не мало, не много...
и зори земные божественно алы —
не много, не мало...

Соперник

Мы кто? Пилигримы, поэты, гусары —
мы пестрой ордою шумим в кабаре,
наточены перья, упряты сабли,
и бархатный я поправляю берет.
Отчаянно плачут и стонут гитары,
плечами под звон потрясают гитаны,
сулят бескорыстные ласки путаны,
и грубый, и пьяный доносится бред.

Но страсти огонь полыхает. Перчатка
сопернику вечному в ноги летит.
Осталась бутылка «Камю» непочата,
а звезды мерцают в ночи, как петит...
Как стих, небосвод междустрочьями заткан —
бывает, что я их читаю украдкой,
несу непарель междустрочий в тетрадку,
и строки унес бы, но это — претит...

Дуэль затянулась. В руках пистолеты,
и нет у соперника лучших забот.
История — вечность у этой вендетты,
и грубый варганит судьба эшафот...
Как щелкают там, в кабаре, кастаньеты!
Останутся, видимо, песни не спеты,
повиснет вопрос неотвеченный — «с кем ты?»,
и саван старуха безглазая шьет.

Но кто мой соперник? Он хриплой сиреной
взывает — летучий транжира и мот,

безумный бретер — уходящее Время,
он песен не знает, не слышит, неймет...
Как быстро кусты увядают сирени!
Меняются лица, костюмы, арены,
в окно кабаке проникает селена,
и горько, надрывно гитана поет.

Блажь небес

Занималась заря, расцветала палитра небес,
окунал я стило в небеса, в первозданную алость,
облака изливались, текли в хороводы невест,
белопенные крылья кисей невесомо вздымались.

Я смотрел в небеса, подо мною дымились снега,
воспаленные мысли сугробы в ручьи обращали.
Как бы мне рассказать, ни на йоту ни в чем не солгав,
как я бредил, смеялся и небо просил о пощаде.

Среди блажи небес, где до срока не видно ни зги,
мне смеясь и лаская, глаза распахнулись вполнеба,
мне истаявший снег серебрил, исчезая, виски,
и на сером холсте проступала весенняя небыль.

Я в небесную блажь окунал золотое стило,
я на холст наносил перспективы размашистой кистью,
и безумство небес на картину весною стекло...
а за окнами осень была и опавшие листья...

Казачка Любка

Поговори со мной, море. Сколько же времени меня на твоих берегах не было? Тайга, Санкт-Петербург.. И виски уже белые. И годы мои, годы почти обрусевшего иностранца, уходят. А море все то же — тяжелое, черное, живое... Господи, где ж это я еще побывать успел? Ну да — Ростов-папа... Большая неоновая рыба на Энгельса... Театр-трактор... И казачка Любка в станице Золотовке. Было это... ох, давно уж это было...

...«Вот хтой-то с горочки спустился», — пели станичники, и разливалась по стаканам пряная хмельная сливянка. Любка искоса поглядывала на Ивана, но этот взгляд всякий раз перехватывал угрюмый ревнивый Серега. Тогда лицо у Любки становилось смешливым и беззаботным, и тянула песню она особенно старательно: «Наверно, милый мой идет...».

— Ты вот что, друг, — предупредил среди веселья Серега. — Ты с Любкой того, не балуй...

— Почему — балуй? — спросил захмелевший Иван, в те поры еще не очень владевший тонкостями русского языка. — Что такое?

— Так ты ж у нее остановился. Верно говорю? Ну так я тебя и предупреждаю. Оно моё, понял?

— Кто такой — оно?

— Оно! Всё это, — Серега обвел рукой дом с садом. — А если чего у тебя с ней уже было — сразу говори! Убью! Из ружья убью! Как сказал, так и сделаю! Вообще-то мне не жалко, пользуйся пока, — вдруг подобрел Серега. — Только скажи, али было чего?

— Было, — признался Иван. — Немножко спал уже на кухне...

— Убью! Точно убью, — сказал Серега. — Ночью убью. Из ружья. Вот схожу домой за ружьем, а потом и убью.

— ... а Люба спал в квартире.

— Как это? — не поверил Серега. — Ты спал на кухне? А она в доме? Заливаешь! Или дурак. Кто ж это спит на кухне, когда баба — кровь с молоком — в доме ворочается? Ну дура-а-ак! А я говорю, пользуйся пока что...

— Ты сказал — будешь убивать, а теперь — пользуй. Совсем не знаю, что делать: пользоваться или...

— Так это я потом убью. Ты не жди, потому — убью все равно. Если спать не будешь — тоже убью. Иначе нельзя — обида, соображаешь, малый? Такая девка, а он спать с ей не хочет! Оскорбление, брат! Так что убью, деваться некуда. Потому как моя Любка самая ладная и справная в станице.

— Совсем не понимаю: спать или не спать?

— Ты меня не путай. Спать, а то — оскорбление.

— А если я не хочет?

— Заладил тоже: хочет, не хочет. Ты глянь на девку-то, разве такие еще бывают? Вот что, друг, ты тут как хошь разбирайся, а я пошел за ружьем...

Серега ушел, натываясь на все углы, а Иван стал ломать голову над сложной логической задачей. С одной стороны, он вообще-то не помышлял пока ни о чем таком. Только два дня прошло с тех пор, как он появился в Золотовке. А с другой — не зря ведь Любка бросала на него косящие, привораживающие взгляды среди хмельной казачьей сутолоки. Во всяком случае, он решил не торопить события и улегся спать в выделенной ему летней кухоньке.

Заглянула Любка. На лице ее блуждала загадка. Она присела за столиком близ Ивана и сказала, едва улыбнувшись с эдаким будто невинным прищуром:

— Уже и прибраться успела... Ты-то как? Охмелел, что ль, что спать так сразу и завалился? Может, Сереги испугался? Так он все одно теперь всю ночь вокруг дома будет кружить с ружьем. Он как выпьет, так цельную ночь с ружьем обнимается да спать мешает... Не хочешь ли чарку? А то ведь налью.

— Нет, я не хочу, — сказал Иван. — Нет, я не пугался. И не завалился. Но твой мужчик очень интересна человек.

— Да уж. Как репей... Надоел до смерти... Ну ладно, чего ж, спи. Пойду, видно, и я — время позднее.

Иван удивился своей неожиданной и напрасной выдержке: Любка и в самом деле была кровь с молоком. Ладная, статная, веселая. Отчего же он

повернулся на другой бок? Однако уже повернулся, и сон стал наваливаться... Где-то взлаял пес, отгоняя собачьих призраков, и тихо стало. И побежали радужные расплывчатые кольца выбирающегося на свободу из тайной алхимии подсознания...

— Эй! Друг! Ты что же это? Спишь, никак?

Иван вскинулся ото сна и сел на своей лежанке. Окно кухни было распахнуто, и прямо на него было наставлено тульское одноствольное ружье, над которым торчало всклокоченное чумное лицо Сереги.

— Не уважаешь, значит. А я ж сказал: застрелю. Вот щас хлебну малость — и застрелю. Может, тоже выпьешь, перед тем как помирать, а?

— Иди спать, Сирого! Ночь, а ты здес поиграть хочет. Иди спать, дорогой.

— Как это — спать? Не, я как сказал, так и будет, потому — оскорбление. Любка тебе что — не человек? Всё, братан, пришел твой последний час... Жаль мне тебя. Только что жил человек, а щас помре, — всхлипнул Серега и взвел курок.

Но плечи у него затряслись от рыданий, ружье заходило ходуном.

— Милай! — громко рыдал и сморкался Серега. — Бедной мой, прости ты меня, окаянного. Но сам посуди, это ж моя баба, а ты не оценил, такую девку не оценил, все равно что в душу плюнул, пойми... И прости...

Бабахнул выстрел, пуля улетела куда-то в потолок. Иван вскочил, как кипятком ошпаренный, бросился вон из кухоньки мимо заряжающего ружье Сереги и влетел в комнату. А Серега кричал ему вслед:

— Ты не шибко беги, у меня ишо пуля есть, она догонит, а как же! Не могу я допустить такого надругательства...

Любка насмешливо смотрела из-под своих одеял.

— Ну иди, гостюшка, да побыстрее же. Неровен час — застрелит...

Она отвернула одеяло, Иван только на секунду обомлел от вида сумасшедшей Любкиной наготы и, более не раздумывая, нырнул под зыбку, но такую заманчивую защиту. Уж если помирать, решил, так хоть не зря.

— Здесь не достанет, — успокоила Любка. — В меня стрелять не будет, потому — влюбленный, как кот в марте. Ну иди же, иди, ласковый ты мой, обними-ка меня...

Любка слегка ворочалась, нежась. Иван, ополоумев от всей этой чудной ночи да от Любкиных диких, охмуряющих чар, окунулся в пучину любви и поплыл, поплыл, как плывет выбивающийся из сил человек к берегу — в восторге и ужасе и едва ли не в предсмертной непроглядной агонии.

Окно распахнулось, и всунулся в его проем Серега с выставленным ружьем.

— А-а, — зарычал он, — ты так, значицца?! Гад ползучий! Его приютили, как человека, а он сразу в постелю к моей бабе! Ах, сволочь! Любка! — орал Серега, — а ну выпихни его с кровати! Я щас стрелять буду! Ну! Кому сказал! Стерва ты непроходимая! Убью-у, насмерть убью!

Бабахнул второй выстрел, в верхнем углу комнаты полетела штука-турка...

— Ты погоди малость, — прошептала Любка. — Погоди чуток, я щас угомону...

Она столкнула Ивана на сторону, выпрыгнула из кровати и полезла прямо в окно на Серегу, отняла у него одностволку и зашвырнула ее в кусты.

— Стерьва! — сипел, рыдая взхлеб, Серега. — Стерьва! Я ж любил тебя, подлую, а ты! Всю душу ты мне порвала, Любка...

— Ну идем, Серенький, не упрямясь. Идем, я спатки тебя устрою на кухоньке. Идем, горе ты мое ситцевое, я те чарку налью сладкую...

Они скрылись в глубине двора — голая Любка, уверенно шлепающая по теплой земле босиком, да плетущий за ней вензеля непослушными ногами, всхлипывающий Серега...

Долго ворочался в кровати осиротевший Иван. И час прошел уж. И нервы отзвяхивать стали секунды второго часа. Загрустил он совсем, стал вскакивать, в окно выглядывать: темно там было, только в глубине двора, в кухоньке, слышны были приглушенные голоса и подозрительные, по разумению Ивана, шепоты и стоны. Отгоняя смутные, обидные мысли, вновь заползал он под одеяло, пахнущее Любкой...

— Ну вот и я, милый. Не спишь ли, ласковый ты мой?

Любка сполоснула в тазике аккуратные свои ножки, забралась в постель и обвила Ивана полными гладкими руками. Теперь пахло от нее и свежим запахом сливянки, и еще каким-то духом, от которого Иван весь подобрался.

— Ты, Любка, была тепер из этой Сирогой. Как это можно, Любка?

Он отстранился и засопел.

— Ты, Иван, глупенький. Он мой жених, как же я откажу ему? Не кручинься ты, а пойми. Я когда вижу мужика в слезах, не могу с собой совладать, не могу, хоть режь меня. Ну далась я ему, всего и делов-то! Что ты, Иванушка, что ты, вот к тебе вернулась тепер... Что ж, разве лучше было б, коли он стрельнул бы? Я ж заради тебя... Он спит уже, совсем успокоенный, вся ночь тепер наша, Иванушка, — говорила простодушная Любка. — А хочешь, милый, я совсем прогоню его? Однако жаль ведь мужикато. Я перед мужиком слабая делаюсь, баба ведь, куда ни кинь... Только он опять за ружье хвататься станет. Пусть уж спит, а, Иванушка?

— Пусть спит, — великодушно согласился Иван. — Только я тоже гордая... Как могу я тепер любовь играть из тебя? Сама ты видишь... Видишь — не могу, — говорил он обескураженно.

— Только-то? — зашептала, завозилась Любка. — Это от куражу вашего мужицкого слабина. Да ты не печалься, рази ж мы с этим не справимся? Ах ты мой гордый да обиженный...

Куда там было Ивановой мутной гордыне до Любкиного полыхающего зова, до зеленого огня ее ласковых распутных глаз... И плыла над станицей тихая звездная ночь, и шелестели в ночи шорохи и вздохи Любкиной щедрой казачьей любви...

...Иван очнулся от воспоминаний и взглянул на завихряющуюся вдали, накапливающуюся волну. Она выростала прямо на глазах, поднималась на дыбы, как дикая белогривая лошадь, и вот обрушилась на скалы, раздробилась на тысячи игривых жеребят, взбрыкивающих и, как мать, белопенных...

И подумал Иван, что, быть может, не так уж неправа была та русская женщина, которая заявила когда-то на весь мир, что на ее земле вообще нет секса. Это было давно, тогда Иван еще не родился, но это выдающееся заявление стало смешной притчей о России. И мир еще долго смеялся.

Просто нынешнему миру не понять, подумал Иван, что на многострадальной этой земле есть нечто более могущественное. Менее уловимое, но потрясающее. Не обозначенное столь сухо и резко, но несущее в себе пленительное очарование тайны. И сказки. И мечты. И надежды. Нечто, в чем желающий мог бы увидеть неуловимые, меняющиеся черты счастья — счастья на ночь, на неделю, на всю жизнь. Нечто, чему имя совсем иное, истинное, древнее и вечное — Любовь.

С хазарином Бен Курберды я познакомился в летающей тарелке после съезда бомжей. Он и устроил мне приглашение в Занебесье — от Их Всевышества. Он же и доставил меня в Занебесье. О первой моей встрече со Старичком я расскажу как-нибудь в другой раз, удивительная была встреча. А теперь...

— Лошадь не дам! — категорически заявил Их Всевышество. — Ежели желаешь по Занебесью погулять, так и быть, бери мою карасиновую тележку, што «мурседесью» кличут. Мне ее наемни Курберды з Германии пригнавши. Ды гляди, не заблудися. Ежели чиво — свистни, вызволим, не бойсь. И што ето тебя в пустынь мою потянуло? Совсем не антиресно. Иное дело на Земле, там же происходит жизнь, там же любов происходит, дивы дивныя по Земле шествуют, глазишшами блямкают, ножками тудой-судой суетять.

— Ну, все-таки Занебесье я давно мечтаю посмотреть, отец.

— Пхы! Што ж там, окромя? Одна пустынь. Ну, ды ладно, воля твоя. Може, чиво и стренешь. Возьми вона карту, штоб сподручней, тута все обозначено где чиво...

Я повернул ключ зажигания и, вероятно, слишком резко нажал на педаль акселератора — «мерседес» взревел, в порошок стер звезды под колесами, пронзил все пространства и влетел в Исполдную; это я выяснил, сверившись с картой.

Исполдня была похожа на свет в конце туннеля — круглая, сияющая, беззвучная. Ворвавшись в нее, я нажал на тормоз. «Мерседес» крутнулся, как на льду, чихнул, выплюнул последний клуб дыма и остановился.

— Эй! — крикнула на меня скелетина, выглянувшая из-за вполне земного деревенского домика. — Не ко мне ли приехал, казак?

Это и в самом деле была чистая, сверкающая костями скелетина. Я стал приглядываться к строению тазовых костей, почему-то вдруг очень важно стало определить пол. Кости таза показались узкими и я удовлетворенно подумал: «Нет сомнений! Тут, в сочленении таких костей, конечно, был когда-то этот самый “жезел любви”, как поэтически выражается их всевышество». Но насчет жезла — тоже в другой раз...

— Невежа! — строго проскрипел скелет, будто подслушал мои мысли, — не был, а бывал! Ну, совсем охренели — бабу от мужика отличить не могут!

Скелетина игриво шевельнула костью бедра и вдруг уставилась на меня пустыми глазницами.

— Ой! Ну, ты чё, гостюшка, на самом деле? Неужто я так изменилась, что и не признаешь?

Я вздрогнул и попятился; теперь голос показался мне знакомым. И мурашки побежали по хребту. Какие-то извивы голоса, исходящего от скелета,

породили вдруг жуткую далекую догадку, и догадка вползла в мою голову, как луч света от далекой звезды: то были мощи Любки из Золотовки.

— Любка... — прошептал я.

— То-то, Иванушка! Признал все-таки.

«Господи! — тихонько присвистнул я. — Почему же скелет? Чем же она, Любка-то, провинилась?»

А скелет Любки, двигаясь довольно пластично и, я бы даже сказал женственно, приблизился ко мне и возложил фаланги пальцев мне на плечи.

— Что ж ты уехал тогда, Иван, не сказамшись? А я уж думала, станем жить мы с тобой, а чего не жить — дом, двор да и мы с тобой...

Я смотрел в пустые глазницы и пытался восстановить облик моей стародавней хозяйки, донской казачки Любки. И владела мной полная растерянность и оторопь.

— Переменился ты, Иван, ой как переменился, и сединой волосы побилло...

— Любка, — невнятно промямлил я. — Как же это?..

— А чего, Иванушка, — журчал между тем Любкин остов, оглаживая полированными костяшками мои волосы и понуждая и меня к ответным движениям. — Ты вот скажи, так ли я хороша, как прежде? Неужто не глянуть теперь?

Сомневаясь и испытывая крайнюю напряженность, я все-таки положил руки на то место, где была когда-то Любкина талия... Она, талия, была и сейчас, в этот самый момент. Ощущение теплой девичьей плоти было абсолютно реальным, только руки мои будто зависли над скелетными соединениями. Но, видимо, то была попросту милость вездесущего Старичка. Милость для меня, так мне показалось. Или, наоборот, искушение, напоминание...

— А-а-а! — раздался вдруг возглас. — Только я отвернулся, а он опять к моей бабе пристаёт! Любка, стерва ты непроходимая, а ну, отодвинься, я шас стрелять буду.

Второй скелет с ружьем наперевес приближался к нам от калитки.

— Ну, чё ты, Серенький? Все стрелять да стрелять. Это ж Иван, али не помнишь? Гость ведь...

— Я шас дам — гость! — шелкал челюстями скелет. — Али я не говорил тебе, гость, што оно мое?

— Говорил, Серега, я ведь помню.

— А ежели помнишь, зачем Любку мою обымаешь?

— Да просто поздоровались...

— Я шас поздороваюсь, — стучал костью о ружье скелет. — А ну, Любка, отыдь в сторону! Отыдь, я сказал...

Видно, их всевышество слышал, как я присвистнул и, хоть с опозданием, а объявился.

— Эх, ты! Эх, ты! Куды тебя занесло! Нельзя сюды, Иван! Ни в коем разе... А я ж на моем Буяне пока ишо только домчалси, дак глянь — Буяшато весь взопрел с устатку.

Острые плечи лошади торчали над шеей, с боков хлопьями падала пена.

— Лепо ли, Иван, по Исподней шастать ды страсти всякия глядеть? Што ж тут, окромя шкилетов! Ды ведь и Воландим не велел...

— Это, отец, Любка — моя старая знакомая. Когда-то я...

— Ой, ды знаю! Што ж ето ты господу, мне, то ись, расскажешь? Знаю я, как ты сбежал из той станицы. Полакомилси и сбежал, а? — всадник погрозил мне полусогнутым старческим пальчиком.

Тут их всевышество протянул этот самый пальчик к мощам Сергея.

— А ты, убивец, погодь стрелять, ишшо настроляиси.

— А чего он Любку мою лапает? Я такой обиды стерпеть не могу. Любка, она ж моя баба, вся, как есть, моя. Воландим сказывал — на веки вечные моя.

— Твоя, твоя. Однако, если господь, я, то ись, говорю «погодь», стало — погодь!.. Ишь ты! Как за шкилетину воюет! — пробормотал он, и в голос: — Што, не надоела ишшо?

Недоумение излилось из пустых Серегиных глазниц.

— Любка-то? Как же это Любка — и надоела? Не может Любка надоесть, потому как баба справная. Да такой бабы, как моя Любка...

— Ну, завелси... Я ж только спросил.

— А чего это я надоела? — обиделась Любкина скелетина, грациозно шевельнув бедреной костью. — Ты, ваше всевышество, говори да не заговаривайся. Рази ж про женщину можно такое?

— Ну, ладно, ну прости ты меня, — приложил к груди руку Старичок. — Я ж только так, для антиресу, штоб попытать, а крепка ли евонная любов. А то все талдычуть — любов, любов. А куды ни глянешь — по-разному выходить.

— Идем, Серенький, я те кисельку с господних бережков налью, я ж с того киселя уже и браги наквасила...

И тут я увидел, как, уводя Серегины мощи, Любкин скелет стал делать мне тайные знаки, и знаки эти, при дефиците видимых средств, были довольно выразительны. Во всяком случае, я понял, что она намерена уложить Серегину арматуру спать, напоив хмельным киселем, а затем я вся, мол, в твоём распоряжении...

— Женшына, ить она женшына и есть, даром што шкилетина, — покачал головой Старичок. — Одним лукавством душа ейная полнится, — заключил их всевышество и вдруг лукаво прищурился и со значением сказал: — А шас, Иван, ежели желашь, могу поведать тебе тайну страшную, подслушал я ее надысь, когда Воландим суд чинил над твоею Любкою ды над женихом ейным Серегою. Тебе ж антиресно, я ить вижду. Ну дык слухай! Опосля, как ты был сбежамши из Золотовки, объявилси в станице художник с гривую буйною в виде хвоста конскага, с гривую паче, нежели у маво Буяши, ажно на плечи спадающу. Што он там мазал-мулювал, сказать не можно, бо на холстах евонных один только етот... ну, яко ноне глаголют, потёк сознания. Штоб тебе понять — ежели мою карасиновую тележку, мою «мурседесь» на части разобрать ды все ето в кучу свалить, ды ишшо пакостию какой, навроче грязи болотной, обляпать, а поверх кучи око крывое, весьма мерзостнае, пристроить — оно и выйдет. «Любов донской казачки» та картина называлася. Намедни, ишшо только в станицу стопы своя навостряючи, сей муляр товаришшам сказывал, што, дескать, простой народ всенепременно ево пойметь, простой народ чуйства глыбокия чуйствуить, душою чистою воспрымаить.

Стояли казаки вкруг того шидевра и сумлевалися... И только Любка, более на муляра, нежели на шедевр ету взиравшая, объявила:

...— Желаю! — сказала Любка. — Желаю эту «Любов» в доме моем иметь.

Художник поощрительно улыбнулся.

— А знаете ли вы, девушка, какова цена этой картины?

— Про цену, мил человек, договоримся, — отвечала Любка, томно всем телом потянувшись. — Только ведь надо и место выбрать на стенке. Мы тут, хотя и деревенские, а понимаем: свет, он же правильный должен падать. Та что, товариш художник, видно придется вам самолично и место определить, и картину у меня на стене пристроить.

И пошла Любка, нисколько не сомневаясь, прочь.

Вокруг станичники цокали языками, глаза вылупливая на невиданную живопись, и солидно качали головами: «Дак тут жа на цельный трактор железа... А може ишшо и на прицеп...»

Обмотав картину рядниной, художник поспешил следом за Любкой.

Сергея, сумрачно все это со стороны наблюдавший, вытянул из кармана флягу, отхлебнул из нее добрый глоток, догнал живописца и зашагал рядом.

— Никак глянулась девка? — спросил он, усмехаясь недобро.

— Девушка? — повернулся к нему художник. — Верно, девушка симпатичная... Но понимаешь, друг, мне только место для картины выбрать...

— Ну, место — это ты выберешь... — Сергей вновь приложился к фляжке. — Однако запомни, оно мое, понял?

— Понима-а-аю, — многозначительно протянул художник. — Но ты не волнуйся, такого интереса у меня нет. Вот повешу картину...

— Как это — нет интересу? К Любке-то? Ну, ты не прав, мужик! Ты чё, не разглядел, што ль? Али обидеть решил?

— Слушай, приятель, у меня совсем другие здесь интересы. Чего ты завелся? Да не интересуется меня твоя Любка.

— Ах, ты так?! Ты чё, заезжий, в душу решил плюнуть? Как это: Любка и не интересуется?

— А так! Другие у меня интересы.

— Ну, это ты потом... насчет интересу, ежели сразу не разглядел. Только я ждать не буду. Я, паря, шас за ружьем схожу, чтоб чего такого не вышло. Ежели что — застрелю, так и знай. Вот шас только схожу, а ты тут пока сам разбирайся со своим интересом.

Любка уверенно вышагивала впереди, ни разу не оглянувшись.

Сергея быстро, но неверно перебирая ногами, свернул к своему дому. Там он снял со стены новое двуствольное ружье, сунул в карманы несколько патронов и пустился в обратный путь.

«Отчего ж такое выходит? — путанно размышлял он. — Уже и свадьба назначена, а Любка... Што я, Любку не знаю!.. Сколько уже их перебивало-то? Никола с Кривого Рога... Петька с Ростова, Тарас с Вёшек, Валентин с Питера... И этот, Иван... Теперь ишшо и художник, тоже с Ростова... Интересу у него, вишь ты, не имеется. До Любки! Хм! Да только за это удавить гада... Ну все! Кончилось моё терпение! Сегодня!!! А то ж потеряю я Любку... А я ж так ее люблю. И она, стерва, говорит — любит. А то бы давно уже прибил... Ну, все! Довольно! Сегодня, если што — прибью! Сегодня! Или не видать мне Любки...»

Приняв такое окончательное решение, Сергей вытянул из кармана флягу...

Стемнело. В окошках Любкиного дома вспыхнул, а вскоре и погас свет. Там злобно взирал со стены мерзкий глаз, пристроенный на груде металлолома. На столе неприбранные стояли стаканы с остатками вина и закуски всякие...

На широкой Любкиной постели, то тут, то там вспыхивали во тьме и тут же гасли смурные Любкины глаза, куда более привлекательные, нежели это пакостное око на стене. «Любовь донской казачки». Да-а. Любовь донской казачки наличествовала во всей своей разрушительной красе, только бурый холст на стене был к тому не причастен.

Причастен был Серега. Его взлохмаченное заплаканное лицо явилось в распахнутых створках окна, и серая сталь ружья мрачно блеснула в луче косоного лунного света.

— Ну, прощай, Любка! Прощай, стерва! Прощай, моя любимая, моя единственная...

Грохнул выстрел и сразу — второй... И теперь уже никто не шевелился в простынях на кровати. Серега обстоятельно перезарядил ружье, тщательно прицелился в холст — на месте нехорошего глаза образовалась черная дырка.

Слезы высохли на лице Сереги, глаза засветились тоской и победой. Он приставил ствол к виску и... канул в небытие...

...— Здравствуй, Серенький, — услышал он печальный Любкин голос, похожий на эхо, на отзвук далеких бархатных и неистовых громов любви, разносящихся в вечности. — Здравствуй, милый...

— Любка...

— Вот мы и вместе, Серенький. Эх, ты! Добился ты своего. Теперь вижу: видно, только тебя любить и стоило... А теперь, уж, верно, навсегда.

Они обнялись и стояли, рыдая от горя и, быть может, от счастья и заглядывали друг другу в глаза, ища ответов на новые, неясные вопросы...

— Навсегда! — прогремел над ними голос Воландима. — Ты, казачка Любка, плоть свою, свою дикую чарующую плоть навсегда утратила. И гостей больше не будет. А ты, Серега, в своей глупой, но такой великой любви тоже бесплотен будь. На то это место и зовется Исподней. Пребывать вам отныне здесь. Она твоя навеки, казак!

— Моя-а-а! — судорожно выдохнул Серега, который только эти последние слова и услышал, страстно на Любку взглядывая. — Ничего более этого не желаю... Моя навеки...

— Кто ты? — спросила Любка, стрельнув лукавым глазом.

— Я? — усмехнулся черный князь. — Да просто Воландим.

— А не заглянешь ли, Воландимушка, к нам на огонек. Иной раз...

Бесстыжая Любка, даже обнимая Серегу, шевельнула игриво бедром. Или тем местом, где минуту назад было потрясающее ее бедро.

— Любовь, — неопределенно пробормотал Воландим. — Или ничему не подвластная ее ипостась...

В доме кровать была устлана белоснежными сверкающими простынями, и не было ни малейших следов художника, не было на стене и простреленного холста.

А снаружи, у открытых створок окна, жадно обнимал свою Любку Серега. Но, если следовать фактам, то были обнимающиеся скелеты.

Воландим поднес к губам мундштук саксофона — понеслась, сотрясая Поднебесье, странная, чарующая и одновременно невыносимо тревожная песнь, поселяющая в сердцах и любовь, и сопутствующее ей тайное сомнение...

В отдаленном уголке Занебесья, на карте обозначенном «Тау-Аванг», совершенно потерянный художник из Ростова-на-Дону тщетно отбивался от приставаний некоего неимоверного существа, состоящего из ржавых железок, каких-то стержней, шестеренок, обляпанных грязью. Вверху этого существа сиял призывно кривой единственный глаз. Существо неуклюже хватало живописца за разные подвернувшиеся места, издавая при этом нежные стоны, весьма похожие на Любкины. Эти стоны художник еще помнил. И, вероятно, будет помнить всегда. А потом и возненавидит.

Если существу удавалось ухватить ростовчанина, тот вопил благим матом, но существо ничуть этим фактом озабочено не было, оно себе размеренно и механистически стенало и стенало, одаривая художника неистойвой «Любовью донской казачки»...

Елена Лапина-Балк

Родилась в Санкт-Петербурге. Закончила ЛИТМО, факультет «Квантовой физики», отделение журналистики ФОР. В настоящее время живет в Хельсинки. Автор пяти поэтических сборников, последний из которых «Над пропастью снов шёпот шелка» (2006, 2007) в соавторстве с поэтом Алексом Сандерсом (Швеция). Участник различных коллективных сборников, альманахов, антологий — Санкт-Петербурга, Москвы, Германии, Финляндии, Голландии, Китая.

Член финского ПЕН-клуба. Составитель, редактор-составитель альманаха «Иные берега» 2002—2006 гг. (Хельсинки). Руководитель международной творческой группы «Taivas». Руководитель проекта альманаха «Под небом единым». Редактор-составитель антологии переводов русскоязычных авторов «Небо без границ».

Из готовящегося поэтического сборника «Мой северный Восток»

Цхинвальские зарисовки

(в стиле ХАЙБУН)*

Иракий стоял посреди дороги, не зная, куда ему идти — просто он опять ничего не помнил...

Последнее время такое случалось часто: выходил из дома, а куда идти или возвращаться, уже не мог вспомнить. Вот и сейчас, еле передвигая ноги (он почему-то был в домашних тапках), делал несколько шагов вперед, поворачивался на 180 градусов и опять несколько шагов вперед... а вокруг люди... люди. Ему вспомнилось: старики, женщины, дети... и он мальчишка — все медленно идут по дороге, заполненной раскуроченными грузовиками, танками... Но тогда была война, врагами были немцы, а что сейчас? кто враги? и почему стреляют?

Подошла девочка лет пяти, взяла в свои маленькие ладошки сухую руку Иракия, прижалась к ней влажной щекой: «Ты кто, ты тоже потерялся... а я маму потеряла, пошли вместе, я не буду плакать, честное слово». А ещё она достала из кармашка платяца печенинку и протянула ему, со словами: «И ты не плачь... мы обязательно найдемся».

И они пошли вместе со всеми на север.

* Хайбун — хайку в прозе. Небольшое прозаическое произведение, сохраняющее дух и стиль хайку и нередко заканчивающееся трехстишием. Хайбун выглядит как небольшая зарисовка с хайку в качестве замыкающей детали.

пути в никуда
случайно пересеклись
у разных жизней

* * *

Это был дом, который уже никого не ждал... это был дом, в который уже никто не спешил...

Он смотрел своими слепыми глазами разбитых окон в небо, но различить на нем солнце, облака и хрупкую мирную синеву уже не мог. Память кричала в пустых, сгоревших комнатах детским плачем, а реальность кружила над лежащими на полу трупами — Рустама, Наны и маленькой Тамрико. Даже ходики на стене остановились, старые ходики с кукушкой, которые держали только ради забавы для Тамрико. Вместе с ними остановилось и время...

Кому я теперь нужен, подумал дом. И когда ветер с севера запричитал, зарыдал, обнял его, он не выдержал и рухнул.

И кто дал право
жизнь оборвалась ночью
небо свидетель

* * *

Настал девятый день. Площадь в Цхинвали...

С благотворительным концертом — почтить память невинных жертв — приехал Великий Осетин — Гергиев, он хотел быть в этот день в родной Осетии. Пришли все: Живые, и мы, ставшие Невидимыми...

Я не знаю, что тогда случилось — утром не мог понять, почему меня не замечают, не слышат и только причитают над моим телом. Нино плакала тихо... моя Нино. На двадцать пятое августа была назначена наша свадьба.

И Музыка плакала. Площадь, затаив дыхание, слушала. Кто-то сидел, большинство стояли, но у каждого за спиной находился ставший Невидимым — родной, близкий, друг. Рядом с Нино было свободное место... знали — это место для меня. Моя невеста — вся в чёрном — вдова...

На мгновение Гергиев замер, и показалось, что площадь вздрогнула.

Я взял Нино за руку, положил ей на ладонь кольцо. Она стала что-то говорить, беззвучно, только губами, слёзы застыли в её глазах. И на её тихий плач музыка отозвалась своим рыданием.

А я почему-то не мог плакать — Невидимые, наверное, не плачут...

Потом стало тихо-тихо. Живые расходились, а мы — Невидимые — всё стояли и стояли... укутанные эхом музыки прощания — и благодарные за память...

нет это не дождь
то безутешно плачут
души умерших

Предвкушения *(хайку)*

аромат чая
третьим в нашей беседе
какой говорун

люстра с фужером
ласковый звон хрусталя
флирт одиночеств

звон откровений
тоскующей рюмочки
опьянение

только б коснулась
губы задумчивой дамы
пунш соблазняет

Послевкусие *(хайку)*

сентябрьский ветер
прощанье и надежда
всегда с тобою

октябрьский окрик
вина веселье в танце
круженье мыслей

ноябрьский иней
касаюсь желтой дыни
душе теплее

декабрьский холод
в руках так быстро тает
мороженое

Надежда Жандр

Родилась, выросла, училась в Ленинграде. Образование — филологическое: немецкий язык и литература. Продолжила обучение в Финляндии, в университете г. Вааса: немецкая литература и литературоведение. В настоящее время является секретарём и членом правления Международного общества культуры МИРА г. Вааса, руководит театром-студией для юношества.

Руководитель проекта антологии «Небо без границ» (Финляндия). Член редакционного совета альманаха «Под небом единым» (Финляндия). Автор сборников: «Сборник стихотворений» (СПб, 1994), «Королевская охота» (СПб, 2000), «Свирель» (Финляндия, Вааса, 2007).

Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

* * *

На том стоим, тем дышим, тем играем,
 что в просторечье музыкой зовётся,
 чьи струны — седина, смычок пугливый
 лобзает душу, но ломает пальцы.

Для чтения в темноте
 нужна мне скрипка,
 для слуха тонкого — прозрачная природа,
 для осязания — небесного ковбоя
 ночное немигающее стадо.

* * *

Как нетронутый берег
 волнами тоски и забвенья,
 как открытые губы
 навстречу ли солнцу ночному
 или звёздам, проросшим
 на тёмной твердыне небесной,
 я промедлю, за волосы времени
 свет притянувши,
 и как будто живым одеянием
 тихие пчёлы рассвета
 облачат мою душу.

* * *

Когда вчера
забытые цветы
не поливаешь медленной рукою,
они растут
в пространстве сухости,
сворачивая вялые листья,
и — улыбаются
глазами старости.
О, пробудись!
Когда-нибудь и ты
начнёшь искать
среди зеркал расставленных
то отражение немое —
то,
что звать хотел
и узнавать — собою,
себя, вчерашнего.
Видений терпкий строй
передаёт усталые картины,
и тут — дороги
повседневные морщины
к глазам приводят:
встреча, взгляд и небо.
Себя узнаешь,
только никогда
прозрачной юности
не сможешь уж напиться.
И в опоздании
сокроешь ты лицо
листами рук,
сухих и шелестящих.

* * *

Как хотелось бы мне в тихий дом
постучаться в двери и застыть
пред тяжёлой и скрипучей дверью.

Слышу: это дерево ночное
движется во тьме и шелестит
о далёком призрачном покое.

Слышу звуки птиц: они проснулись,
глядя в ночь из тёплого гнезда.
В небе заалеют поцелуи
и остудит звонкая вода

из колодезно-озёрной сини
жаркое дыханье и лицо
неподвижное в тяжёлой
прошлой жизни.

* * *

Дом создан из песка. И дыма. Тихий дом.
И в нём кровать устелена листвою.
Там шорохи лесные, тёплый дождь
и облака плывут над головою.

Туда приду и стану там мечтать.
И крылья стрекозы зеленоглазой
осколками блеснут от слюдяных зеркал
иль окон в мир, где не была ни разу.

О, что за тишь! Высоких сонных стен
в безвременье бездонном осыпанье.
И, поднимаясь, тонешь, иль паришь,
иль растворяешься.
И познаёшь молчанье.

* * *

Большие голубоглазые зеркала
в тяжёлой бронзовой оправе
с чернью и шёлковым отливом времени
смотрели слегка рассеянно и туманно,
отражая в себе лишь пейзаж
за узким окном.

Случайные лица
редко тревожили их память:
их глаза были направлены выше.
Выше суеты сует.
Выше общечеловеческих заблуждений.

Они смотрели как бы в никуда,
бесстрастно впитывали
опалом своего нутра
смену природных явлений, времён,
которые как бы не существовали.

И всё же картины, ими наблюдаемые,
оказывались глубоко эмоциональными
и трогательными.

Они источали чистоту.
Глубокий взгляд
отождествлялся с небом,
зеркала погружались в него, были им.

С почтением подходили к ним
путешествующие в поисках истины,
но зеркала глядели вдаль.
Глядели не отрываясь.

* * *

Настал неторопливый день.
Забывтый свет скисающего полдня
лежит в закрытой комнате на досках
по-деревенски крашеного пола.

И только воробьи спешат,
их звуки в тающем мороженом и мяте
кичливо отцветающего сада
провинциально резки и пусты,
как солнечные лёгкие шелушки.

* * *

Рассматриваю руки на свету.
Они огнём и кровью пламенеют.
Пергамент кожи сохранил на время
те письма, которые читать
умею. И поэтому ладони
так робко раскрываю, подношу
сочувствию глубоких глаз.

Что видеть и чему внимать стремлюсь?
Тому ль, что пальцы тонкими слезами
И лёгкой дрожью просьбы иль мольбой
касаются пространства? Воздух слышит
и чувствует моё прикосновение.

Чем внешний отвечает мир
на исповедь, возникшую спонтанно
из капель воска нежных пальцев-свеч?..

«Где Дании краса и королева?» —
Молчание...

Зажгу собой от света
среди людей, которых так немного,
лучину вечности!
Средь тьмы смотреть мы станем
глазами, отрешёнными от лжи,
пронизывая хаос несловесный
собой. Душой оберегая Бога,
усиливая нежность и рассвет,
увидим в глубине себя небесной
несущими Божественное Слово
в ладонях наших книг, в страницах рук...
Иль нет?..

Людмила Кирпу

Родилась в Советском Союзе, училась и работала в Ленинграде. С 1991 года живёт в Финляндии (г. Хельсинки). Образование гуманитарное. Печатается в периодических изданиях Финляндии, Германии, России. Участник коллективных поэтических сборников Санкт-Петербурга, Москвы, Мюнхена. Автор поэтического сборника «Недоигранная гамма», 2007 г. (Геликон Плюс, Санкт-Петербург), участник антологии переводов «Небо без границ» (Финляндия) 2008 г.

Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

Из цикла «Паперть откровений»

Поэт живёт, чтобы писать,
а я пишу, чтоб просто выжить,
И, словно в амфору, в тетрадь
по капле сок свой горький выжать.

* * *

Вся жизнь на «до» и на «потом»
разделена случайным днём.
И обросла таким горбом, —
лет сто носи — не сносишь.
Под этой тяжестью вдвоём
мы меж реальностью и сном
разносутулые бредём
по кругу в ту же осень...

* * *

Ты — Мастер! Я простая глина
в твоих руках. Неутомимо,
за слоем слой, сдираешь грязь,
в мою бесформенность стремясь
вернуть утраченные формы.
Засохла я, но ты упорно
в ладонях сильных разминаешь,
ждёшь вдохновенья... нет... бросаешь...
Блестят глаза... нервозны руки...

Я — твоё творчество.
Ты — муки.

* * *

Перемазали...
душу живую.
Фразами,
словно петлёй душили.
Забыли?..
Битых морозами —
не запугать.
Угрозами — не одолеть!
И впредь
попытки напрасны.
Не властны
над замыслом Бога
те, чья «правда» убога.
Вам ли меряться силами?..
Над безвинных могилами
покаялась,
что не пристанет грязь!
Что душу, ещё живую,
не пере-лицую!

* * *

Щепки
былых огорчений
хрустят под ногами...
Как спичку зажжённую,
память
к ним подношу.
Вспыхнуло пламя...
Бросаю в костёр
ветки сухие
бессмысленных ссор.
Сжигаю разлуки...
сжигаю потери,
как старые рамы,
ненужные двери...
Поленья предательств,
разводов... сомнений
бросаю в огонь,
как ненужное бремя.
Всё, что не греет,
не плачет, не дышит,
в горсть собираю...
А пламя всё выше,
пламя сильнее...
Оно... всеобъятно!

Из чёрного дыма
рождаются пятна
Радости Белой —
Простила...
Простилась...
Преодолела!

* * *

Ветер... Залив...
Мысли в растрёп.
Волны читаю,
как строчки, — взахлёб.
Сон или явь?..
Слышу голос воды, —
в твоём одиночестве
чьи-то следы.
Спросила тревожно:
кто, в замкнутый круг?
Эхо шепнуло:
и недруг, и друг...

Ветер... Залив...
Озаренье... Испуг —
сама себе недруг,
сама себе друг.

Из цикла «Собой заполненное слово»

Вдохновению

Странная тайна
в голосе этом...
Словно закат
повстречался с рассветом
и распахнул
закрытые двери,
чтобы проверить —
жива ли душа ещё?..
Живы ли чувства?..
И в комнате той,
где давно уже пусто,
вдруг на стене
заплясали тени.
Тени забытых
сердцебиений...

Знаешь, мой голос,
лучше не надо!
Ночь наказаний,
утро награды —
всё это было...
А может быть... будет?..
Нет! Разум, проснувшись,
чувства остудит.
Не соблазняй меня,
милый проказник.
Я — только будни.
А ты — это праздник!

* * *

Я убегаю!.. К словесному блюду
не прикоснусь — запретное блюдо!
Искренне верю и очень надеюсь,
что перестану нести ахинею...
Это было вчера... Эти мысли — вечерни.
Ну, а сегодня...
Сквозь снов своих тернии
я возвращаюсь... с намереньем — буду!
К чёрту диету!..
Словесному блюду
вся отдаюсь, отдаюсь без остатка...
Десертное блюдо, как же ты сладко!!!

* * *

Дай, Боже, сил не оступиться,
увидев завтрашний закат.
Устала жить в краю, где лица,
как маски серые, молчат.

Устала прятать за улыбки
непониманье и акцент,
делить на дань и долг — тот хлипкий,
тот «корневой» эксперимент*.

Зачем мне этот паспорт финский,
когда родная часть души

* В конце 80-х—начале 90-х годов бывший президент Финляндии Мауно Койвисто предоставил возможность советским гражданам, имеющим финские корни, вернуться на свою историческую родину. «Корневой» эксперимент — авторский термин.

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

осталась там, где дремлют сфинксы,
где Невка шепчет: «Не спеши!»

Куда спешить, когда ветрами
гонима вдоль, не поперёк,
плыву я между берегами,
как поздней осени листок...

Дай, Боже, сил не оступиться
и мудрость дай, чтоб не терять
среди масок найденные лица,
которым есть о чём молчать.

Иван Бережной

Родился в Минске (Беларусь), там же окончил университет (факультет переводов) и магистратуру (филология германских языков). Учился в аспирантуре, работал редактором бортового журнала авиакомпании «Belavia». С 2005 года работает над докторской диссертацией в университете Хельсинки. Преподаватель, переводчик, редактор текстов. Владеет английским, французским, финским языками. Стихи публиковались в альманахе «Под небом единым» (Хельсинки), в сборнике «Лепестки ромашки», 2008 (Новосибирск), в антологии «Небо без границ» (Финляндия).

Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

Экспериментальная поэзия

Ты будешь ждать,
я буду медлить —
молчания басовый ключ;
твоя кровать,
открыты двери,
я постарел — меня не муч-

ай и не жди.
Любви сценарии —
удел любителей кино.
Я победил,
победа — знание.
Зови, гони — мне все равно.

* * *

окаменевший горб не ляжет
в усталость тщетных снов

окостеневший мозг не смажет
брызги последних слов

остекленевший взгляд не свяжет
эхо шагов в следы

окоченевший рот не скажет:
«Нас нет. Есть я. Есть ты»

* * *

Зеркало кожу в глаза бросает
на раз — бледная
на два — тонкая
на три — продана

Каждая клеточка вдруг нагая
дрожит — бедная
как лед — ломкая
молчит — предана

Трезво-зря монету считаю
на вес — легкая
на зуб — горькая
на свет — грязная

Ветер с востока

спелый сок рябин
снежных поцелуев зов
о-ди-но-че-ство

вода смыла пыль
вижу ладони свои
нет прямых дорог

земляники сок
на губах моих солнце
не стану старым

глазами в небо
мерзлая земля в руке
спросить некого

мягкие волны
на бегу коснусь рукой
стану берегом

свежий ночной снег
укроет бездомный шаг
тишина греет

Наталья Лайдинен

Поэтесса, прозаик. Родилась в Петрозаводске (Карелия), в семье с финно-угорскими корнями. Член Союза писателей РФ. Выпускница МГИМО, кандидат социологических наук. Автор сборника стихов «Небесные песни», получившего премию «Литературной газеты» и Национального биографического института «Книга года—2005». Лауреат премии имени К. Симонова за высокохудожественную лирику о войне и любви. За литературную деятельность награждена медалью «За заслуги перед МГИМО» и памятной медалью Московской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков «А. С. Грибоедов».

Стихи переведены на несколько европейских языков.

* * *

Строчки нижутся, как бисер.
Сумерки. Смотрю в окно.
Кто-то дальний бросил в выси
Бархатное полотно;

Ветер потревожил струнки,
Звуков расплелась канва,
В небе звездные рисунки
Засверкали, как слова,

Подчиняясь вечной власти,
Во вселенском вечере —
Точно одинокий Мастер
Начал с бисером игру,

Заплетая в тихом трансе
Смысл слов и звездный свет...
Так и дышат в резонансе
И создатель, и поэт.

Стихи о Петербурге

Прощай, мой друг! До встречи на местах,
По памяти известных достоверно.
Я жду тебя на стрелках и мостах,
Где шум волны и запахи таверны.

Нас снова занесет на острова,
Пусть умирать до срока стало вздором.
Вот только сердце зазвенит, едва
Пройдем колонным долгим коридором.

К морским ступеням прижимаюсь лбом
Вгрызаюсь солью в потемневший камень.
И по привычке в городе любом
Тянусь к граниту жадными руками.

Когда-нибудь всех повстречаю тут,
Мой Петербург! Мучительное место,
Жива любовь, чьи спазмы душу рвут,
Грядущее, как прошлое, — известно.

Свидание пьянит и веселит,
Как мы вольны и радостны, бродяги!
Вновь Млечный Путь летит из-под копыт
И на фрегатах поднимают флаги.

Карельские мотивы

Лосихою — к водопою!
Чужим ушам — не слышна,
Идешь по жизни тропою
Спокойно-лунного сна;

Кругом трава и деревья —
Проводники, ведуны.
И камни помнят поверья
Давно забытой страны;

Маршрутом тайным — на север,
Где быстрых лодок причал,
Созвездьем клевер рассеян
В седых расщелинах скал.

Туманов утренних мутность
Скрывает сердце земли,
Где бьется древняя мудрость,
Которую — сберегли.

Незримых жил протяженье —
Троп потаенный узор.
Карельский край — отраженье
Небес на шлемах озер.

Дозор! — незримые стражи,
Не пролететь! Не вползти!
Как в гималайские башни,
Чужим закрыты пути.

Но есть сердца, как колодцы,
Так глубоки и чисты,
В них дальний зов отзовется,
Знаменья будут просты.

Нагая сонная Лада
Обнимет сизые мхи,
И пламенный ангел ада
Нашепчет другим стихи.

* * *

Если поторопят умереть,
Пусть ударит в спину ветра плеть:
Лучше нам с тобою полететь

Над седыми скалами вдвоем,
Там остался финских предков дом,
В нем уже покоя не найдем;

Над слезами синими озер,
Где ты был, игрок и фантазер,
Где была я... Оклик память стер.

Прочь от знойной сухости песка!
Изглодала севера тоска,
Нам бы сампо-мельницу искать.

Кантеле печальный перелив,
Как ручей журчит, нетороплив.
От разлуки сердце — на разрыв.

Ничего не сможем изменить:
Нам смолой в сосновом прошлом стыть,
Через жизни, годы бьется нить

Колдовских и сумрачных кровей
Неуютной родины моей.
Что нам плеск полуденных морей,

Если наш единственный приют
Там, где сны забвенья не дают,
Где весной подснежники цветут

По лесам да посреди болот.
Мудрый Вайнемейнен нам споет,
А старуха нити распрядет.

Возвращенье — странников удел —
Ты со мною разделить успел...
В висках свисток:
 в исток — из тел!

Скандинавская сага

Я заблудилась в пещерах юга,
Вот только вышла опять в Асгарде,
Мне примеряли дар нибелунга,
Возили в лодке по синей глади.

Кивал ветвями знакомый ясень,
И Один руны в ладонях высек.
А я смеялась: не нужно власти,
Дай хоть немного любви — и смысла!

Все тайны мира — твои трофеи!
А у меня — искры ожерелья.
Я ускользаю путями Фрей,
Лови в волне мои отраженья!

Ветра с вершин заблудились в струнах,
Из облаков — голубая барка.
Куются копыта, поют колдуньи,
Зовет все дальше звезда-собака.

Я сквозь тебя прорасту травую,
Сверкну зарницей багрово-алой.
И ты однажды шагнешь, как воин,
Через столетья — назад в Валгаллу.

* * *

Мы друг друга с восторгом приняли,
Наше чувство — углем на извести!
Нарисуй меня черной линией,
Хочешь — длинной, хочешь — прерывистой,

С остановками для дыхания —
Так скрывают волнение школьники!
Нарисуй меня без сострадания,
Все изломы и треугольники!

Силуэтом, сожженным заживо,
Разнесенным — дыханьем ветренным!
Нарисуй меня — в воздух ряженной,
Вопреки всякой геометрии;

Я в просторах живой гармонии —
Пронесусь по мольберту рифмами.
Нарисуй меня белой молнией,
Сумасшедшими биоритмами!

Вдохновенье — опасной кручею,
Взлет эмоциям и движению!
Нарисуй меня, как получится,
На полотнах воображения!

Как увидится, как представится —
Оставляя на небе полосы,
Нарисуй меня не красавицей,
А скользнувшим по сердцу образом...

* * *

Звездами в морозном дыме
Судеб миражи.
У тебя чужое имя
И чужая жизнь.

На свою — не обернуться,
Даже возраст стерт,
В старом Яффо много улиц,
Что приводят в порт...

Чувство тайное хранится
В сердце — узелком.
Я к тебе сквозь все границы
Пробралась тайком!

Оттого, что дорог прежним:
— В снах и наяву! —
Именем забытым нежно
Ночью назову,

Пробуждая ненароком
Память давних дней,
— Стала огненным пророком
Юности твоей,

Сердца рухнувшим запретом,
Белизной снегов...
И негаданным приветом
С дальних берегов.

Хамдам Закиров

Родился в 1966 году в г. Риштан под Ферганой (Узбекистан). Учился в Высшем военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде, в Ташкентском и Ферганском университетах. Работал в Фергане журналистом, завитом Областного драмтеатра, сотрудником Краеведческого музея, с 1994 года в Москве — редактором в газете «Первое сентября» и в журнале «Киносценарии». С начала 2001 года живет в Финляндии (Хельсинки).

Публикации: «Митин журнал», «Звезда Востока», «Знамя», «Твердый знак», «Черновик», «Орбита», «LiteraRus», альманахи «Так Как», «24 поэта и 2 комиссара» и др. Переводы на итальянский, английский, французский, финский, венгерский.

В 1996 году в Санкт-Петербурге в библиотеке «Митинога журнала» вышла книга стихов «Фергана».

Участвовал в различных российских и международных литературных семинарах, фестивалях, конкурсах.

Ненаписанный рассказ: лето

Воспоминания — как солнце, провал в районе полудня, полный вихрением женских прелестей, пылью дорог, а затем — пробуждение, пот, — и напрягшийся организм через силу прощается с вязкой возможностью скрыться от мира. То были дни, принесенные в жертву пеклу и ветру. Ничто не давалось легче. Сон и безделье, редкие ночи и частые дни, фруктовый пост и крепленые вина. Я бы запомнил и больше, но память съедал на ходу сухой, ослепляющий свет. Помнятся краски: пурпурный и розовый, белый в синий горошек и твой коричнево-рдеющий, словно опасность, сосок. Ты была эталоном летнего морока. Зашторив окно, по вечно разбросанным на полу тетрадным листкам, книжкам и фотожурналам ты шла, теряясь в бордовой сочащейся тьме и появляясь, когда бил порыв и, вспыхнув, гардина взлетала, и комната зрела лучами, теснившими твой силуэт. Эти три метра ты шла слишком долго: я успевал забыть твое тело, загар, разделенный на талии узкой белой тесьмой от того, что ты называла купальником. Он ни разу мне на глаза не попался, хотя все, когда ты приходила, наполнялось твоими вещами — кухня ли то, ванная полочка, пол возле койки или мой стол: неизменно ты забывала помаду, пудреницу или платок на пишущей старой машинке. Я тешил себя стуком клавиш. Ты же мешала мне слиться с письмом, садилась мне на колени, отстраняя от прозы, разрезанной мелкими строчками, уже непослушные пальцы. Затем впивалась мне в губы: портреты на стенах закрывали глаза, и лишь цветы на обоях томились упругостью пестиков и тычинок. Переход от финала к прологу был ожидаем, и все же — рассказ застревал где-то в горле, и его недописанный дух отлетал, чтоб уже никогда не вернуться. В жару и слова произносятся дольше, и спектакль лишь начинался мощным и быстрым зачином, чтоб дальше — в рапиде — течь и

ползти, двигаясь медленно, как монолог в поэмах Янниса Рицоса, прекрасный настолько, что невыносим, а малейший любой поворот, чуть заметное действие так неожиданны и ощутимы, что дрожь, охватившая тело, долго еще будоражит сердечную мышцу. Со стула мы падали на пол, игла на виниловом диске скакала, и пара-другая слов сливались в крик возбуждения, меня настрой, смысл песни, до того бередившей печалью и волнами кривую поверхность пластинки. Хороший сборник всегда обещает за медленным быстрое. Дальше шел ритм, оглушенный шаманскими бубнами, нашими стонами, свингом мелькающих труб. Все, что мешало — под нами, на нас, — летело в углы, пугая укрывшихся там паучков, тишину и остатки поэзии. Лишь невесомая пыль смело кружилась в светлых полосках, а барабанщик с басистом, зараженные нами, бешено бились в динамик. Затем — песня об итальянском местечке, скрытом скалой от ветров: мы делали паузу, ты шла на кухню, я ложился спиной на холодный линолеум. Ты возвращалась с водой, садилась, нас тихо качало, несло прочь от берега. Капало в ванной. Вентилятор на стуле бормотал о прохладе. Ты же сосками шептала ладони моей о плодах, о дыне и персиках в холодильнике, я курил, пуская колечки на каждый твой такт, и мы улыбались глупым метафорам автора. Полдень жил в чужих окнах, обиженный нашим к нему безразличием. Ветер пытался отдернуть тяжелые шторы, но ему доставались лишь дырки в застиранном тюле. Мы отстранялись от августа так, как могли: разменяв пару десятков поз, восемь пластинок и тысячу поцелуев. Наше тело искрилось каплями пота. Еще мы читали «Солнечный анус» Жоржа Батая, вставляя туда, куда надо, места, которые не пропустила цензура *, ели дыню, смеялись, измазав ею друг друга, пили стекающий сок. Или прыгали в ванну, и ледяная вода испарялась от наших объятий, положи меня в воду, пел Бибигюль **, и мы, подпевая ему, менялись местами. Жар внутри, хлад снаружи — контрасты были нашим излюбленным делом, всегда окружали — солнце и ветер, сухая земля против сотен ручьев, любовь и табак, чай в морозильнике, твое возвращение к мужу. Сохли уже на балконе, не обтираясь, — достаточно двух-трех минут, — и зажигались на пекле, и буколический вид, простертый за домом, шалел, небеса ж получали свидетельство. Ты держалась за парапет, я — за бедра твои, литература — за имена; меня не печатали, я был счастлив, мы грезили, кажется, еще пару лет в этом приюте, спасавшем нас от судьбы, от лета, что кончится, кончилось. Что ж, говорила ты, нужно идти, до встречи, пока, созвонимся. Я оставался один, готовил еду, листал книжки, спал на балконе, менял города и квартиры, занимался этим и тем. Но твой номер помнит, быть может, платан, одной веткой все время глядевший в окно. Я поеду, спрошу. Наберу эти цифры на солнечном диске.

* «Солнечный анус» — статья Жоржа Батая, опубликованная в начале 90-х в одном из номеров журнала «Звезда Востока», была и в самом деле сильно купирована цензурой.

** Бибигюль — такое прозвище имел Б.Б. Гребеншиков среди своих поклонников в Азии.

Наталья Пейсонен

Родилась в Петрозаводске. С 1992 года живёт в Финляндии. Автор стихотворного сборника «До и после тебя». Отдельные стихи публиковались в газетах, журналах, литературных альманахах. Является лауреатом международного поэтического конкурса о музыке «Бекар», победителем конкурса «Всенародная поэзия» и приглашена для участия в поэтическом сборнике «Всенародная поэзия России». Победитель международного поэтического конкурса «Время любить» 2008 г. (Новосибирск). Участник коллективных сборников в России, Германии, Финляндии. В июне 2008 года окончила Российскую академию театрального искусства (РАТИ/ГИТИС) по специальности «Актриса музыкального театра».

Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

* * *

Помнишь, как мы собирали кленовые листья.
Ветер нас тешил, трепал мои светлые пряди.
Ты называл меня странно и ласково «misty»,
импровизируя. Теплая ночь в Ленинграде...

Вдоль омываемых глыб две летящие тени
тесно сплетались под звуки осеннего джаза,
волны, ласкаясь, касались гранитных ступеней...
Легкие всплески — синкопы. Рождение фразы,

музыки тихое эхо — в открытое небо.
Мы ли скользили под звуки сентябрьского соло?
Был ли ты счастлив со мною в ту ночь? Или не был?
Может быть, был... Посмотри, все бело и бесполо

в это морозное грустное зимнее утро.
Ты далеко. Между нами одни интервалы.
Кто-то шутя обесцветил картинки, окутал
снегом дворы, на изгибы Невы покрывало

из ледяных перепутанных хитросплетений
с тонким искусным узором небрежно набросил...
Мне бы вернуться в мою светлоглазую осень
и прикоснуться губами к губам на мгновенье.

* * *

Хочешь, все бросим? Уедем в Египет,
вспеним, встревожим зеленую гладь...
Там бархатистое небо облито
солнцем. Я буду тебя целовать

в губы. Взасос. Как при первой встрече.
В пьяном угаре сожжем рассвет...
Все перечеркнуто. Больше нечем
жертвовать. Прошлого больше нет.

В замысловатость твоих изгибов
жадно вплетаться... сойти с ума!
Знать, что с рассветом придет погибель.
Жаждать! И залпом тебя — до дна!

В пену, как в бездну, сорваться. Слиться.
Целым, единым в порыве стать.
Бога предать. На тебя молиться.
Всё обрести в тебе! Потерять...
Всё!

Здравствуй!

Здравствуй — и руку тебе протяну,
утро порадует солнечным светом.
Мы уже остро предчувствуем лето
и не задерживаем весну.

Как мы с тобой забавлялись! Апрель
нам позволял безрассудство и шалость.
В эти безумные пару недель
нам с тобой так беззаботно игралось.

В губы... в пролетах... в межлестничной тьме
как было сладко целовывать юность!
Мои семнадцать на время вернулись
в эти мгновения наедине.

Пальцы сжимали в безумии кисть
левой руки. Пульс — удары на грани...
И невозможно расстаться... Вернись!
в губы... и руки сплетались с руками.

Как нам игралось в весенние дни!
Каждое утро в предчувствии счастья!
Здравствуй! И руку в ответ протяни,
неосторожно коснувшись запястья...

* * *

Всего-то четыре ступени
до палубы, вот она — вот...
Не слушай ее откровений,
она непременно солжет!

Она непременно обманет,
раздразнит, лишит тебя сна...
Струятся летящие ткани,
на вьющихся локонах хна.

Смеётся! Как чудно, как любо
смеяться над шалостью, над
безделицей. Спелые губы,
как капли граната горят.

Босая. Игривые взгляды
бросает. Бесстыжая! Ах!
Забавную клоунату
разыгрывать на глазах

не ново. В бреду пьянящем
под всплески, под шепот волн
заставит о настоящем
забыть! Под аккордеон,

под пение шансоньетки
запляшет, под птичий гам!
Ты выложишь все монетки,
все перстни к ее ногам!

И будешь напрасно жаждать
ее (охлади же кровь!).
Ей нравится каждый (каждый!)
и чужда сама любовь.

* * *

Ты прекрасна родная, и инеем пахнут ладони.
Что-то есть в нашей встрече (из прошлого маленький гость).
Среди мимо спешащих, и прочих, и всех посторонних:
«Ах привет! Как дела?» — и опять рассыпаемся врозь.

Что-то есть в нашей встрече — какая-то странная легкость.
Я уже не волнуюсь и все принимаю как есть.
Под ногами плывет растворяясь асфальт, или плоскость,
или листьев осенних серебряно-желтая смесь.

Все, что было знакомым, от времени сделалось чуждым.
Ты прекрасно-чужая, и ветер по самым губам...
Убегая, ты вспомнишь о некогда прерванной дружбе,
и другая пройдет по оставленным мною следам.

* * *

Первый вечер прожить. Прореветь. Промотаться без цели...
Сотни раз его номер набрать и бросать до гудка.
Прележать до утра на разобранной мятой постели
и какой-нибудь гадости выпить два полных глотка.

Все причины понять (оправдать его каждое слово!)
и прослушать совет самой мудрой из близких подруг.
Знать: не нужно умней и не нужно кого-то другого.
И еще раз понять, что он все-таки больше, чем друг.

* * *

Мне бы время назад вспять
до тебя. И тебя не знать.
До твоих обалдевших губ.
В глубь
безымянных чужих книг.
До того, как слова — в крик,
до того, как любовь — в кровь.
Вновь...

Юлия Коликова

Родилась на Украине. Училась в Казани, закончила там же университет (биологический факультет), аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. В настоящее время живет в Финляндии, работает в университете г. Хельсинки. Увлекается фотографией, поет в вокальном ансамбле «Благовест». Стихи публиковались в международном поэтическом сборнике «Лепестки ромашки», 2008 (Новосибирск), антологии «Небо без границ» 2008 (Финляндия).

Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

* * *

Мы встраиваем пространства
 В казенные интегралы
 Отелей для иностранцев,
 С любовью на покрывале

Чужом, где так мало дома,
 Тепла, где не пахнет нами.
 Ключом открываем двери,
 Наутро мы исчезаем.

Вся жизнь... Год летит за годом...
 Стареем и привыкаем,
 И думаем: все нормально.
 Не чувствуя, что теряем.

И верим, что ненадолго,
 Что в будущем (ну откуда?)
 Мы все-таки будем вместе.
 Надежда, удача... чудо?

Безумие ожиданий
 На двух краях континента.
 Друг к другу не дотянуться,
 Так много над нами неба...

Одно забываем только
 В метаниях бесконечных:
 Что вечное — перемененно,
 Что временное — есть вечность.

Июль 2008

* * *

Промозглая, нервная
Предрассветная дрожь.
Кутаюсь в плед,
Жалуюсь тихо себе сквозь зубы.

Ругаю себя:
— Сколько же можно?
Сонный мой бред...
Молчу. Как обычно, бабьи причуды.

Лето, но холодно.
Проблески света
Ледяным перламутром
В окна стучатся. Солнца не будет.

Выпить кофе,
перечитать газету.
Вот оно, утро,
Излечивающееся от простуды.

Новое утро...
Вера в приметы,
Мысленно провожу
Стрелку на юг. Неточно, но все же...

Мост через тысячи
Лет-километров.
Там, далеко, —
Ощутить тебя до боли, всей кожей

Хочется, только вот
Брошено ветром
Слово в ответ.
И этот ответ один: невозможно.

Там для меня,
К сожалению, места нет.
Здесь для тебя, по-видимому, тоже.

Март 2009

* * *

Что же... Я знала.
Больше нет сил.
Я не сказала.

Ты не спросил.
Что ты вздыхаешь,
Сердце, скажи?
Жаль, ты не знаешь
Тайну души...
Может, и лучше —
Все потерять
Разом. Навылет,
Если стрелять.
Что ж ты, палач мой?
Ну? Не щади...
Все — это значит
Нет нам пути.
Взорваны мысли.
Ночь впереди.
Сердце повисло.
Все. Уходи.

Холод вокзала.
Руки как лед...
Я уезжала.
Был Новый год.

Декабрь 2006

*

Пусть будешь ты гордый и властный,
И непоправимо чужой,
Судьбою любим и обласкан —
Ты все-таки будешь мой.

Терновый венец и наспех
Сколоченный крест над тобой,
Не поняв, гоним и распят —
Ты все-таки будешь мой.

Не в славы лучах — в изгнание
Приму и согрею душой.
И сбудется предсказанье —
Ты станешь навеки мой.

Февраль 1999

*

Мне — лететь самолетами,
Мерить время отрезками,
Веря лишь в мимолетности...
Сны и мысли потрескались.
Превращаются в фантики
Все мои фотографии,
Из бумаги кораблики —
Времени эпитафия...
Мне, расколотой надвое, —
Ошибаться, безумствовать.
Мне бы сердце из камня бы,
Чтобы билось без устали,
Не скорбя и не радуясь,
И не веря в прощение.
Не отравленной чувствами,
Нелюбовь мне спасение.

Май 2008

*

Несколько шагов
Оставляют след.
Несколько минут
Было. Больше нет.
Несколько пустых
И ненужных слов.
Несколько дверей —
Несколько дорог.
Можно отпустить,
Или не успеть...
Памяти лимит —
Не о чем жалеть.
Мучает вопрос:
— Ну же, приговор?
Отведенный взгляд —
Выстрелом в упор...
Вскользь и ни о чем —
Разговор о нас.
Глупо, но «потом»
Лучше, чем «сейчас».
Обмануть себя
Легче, чем судьбу —
Ворохом надежд
Устелить тропу.
Продолжать игру,

Или оборвать
Разом, словно жизнь
Чью-то проиграть...
Ставка высока.
Не хватает сил...
Болью у виска:
— Господи, спаси...

Апрель 2007

Осколки венецианского зеркала

Вечный мой страх «а вдруг?»,
Выматывающий мне жилы.
После, потом, как-нибудь,
Не потеряй, удержи лишь...
Это уже потом,
В дороге, на пыльных вокзалах,
В шуме аэропортов
Лицо вспоминать твое... Мало
Времени нам с тобой
Было отпущено Богом.
Вечности, но пустой —
Цена за минуту — немного.
Отблеском в зеркалах,
Дробящихся на осколки,
Пытаюсь тебя рисовать,
Но все равно без толку.
Калейдоскоп зеркал,
Мест, городов, событий...
Призрачный карнавал
Остановить и выйти...
Поздно... Прости, тепла
Рук твоих я похититель.
— Что ты во мне нашла?
Что мне тебе ответить?..
Знал меня всю, как есть,
Ты целовал меня в губы.
Меда и яда смесь —
Памятью из ниоткуда,
Там, где прошлая жизнь.
Помнишь? Я знаю, помнишь...
Сказку мне расскажи
И нарисуй мне полночь...
Вечером снова в путь.
Аэропорт. И время
Можно не умолять, забудь,
Как его надо мерить.

Пять или шесть часов —
То, что еще осталось.
Чувствовать: это — все.
Боже, какая малость...
Молча тебя обнимать,
Словно закрыв от ветра.
Что я могла сказать?
Да и к чему все это...
Время потом расставит все
Вновь по местам своим,
Но, может, они останутся
Памятью о двоих —
Рвущиеся из стен,
Горящие на костре
Времени наши тени
В *Corte del Calderer*.

Июль 2008

Олег Яковлев

Родился в Ленинграде в 1948 г. Выпускник Строгановского училища. В 1977 г. уехал в Париж. Художник. Пишет рассказы, повести, романы, стихи. Собирает фольклор — частушки, анекдоты. Позже они, переработанные, органично входят в его литературные произведения, часть которых носит характер откровенной литературной игры.

Иногда два лучше, чем три...

Имея в кармане три рубля, чувствуешь себя куда более уверенно, чем когда имеешь два.

Баскетболиста Антонова в московском парке «Измайлово» обступили три хулигана с жуткими рожами. «Ах, если бы их было двое, — подумал Антонов, — от двух я бы убежал...»

Силища

Сергей Петрович всегда делал правильное глубокое йоговское дыхание, стоял на голове, сидел, размышляя, в позе «лотоса», и вот результат : он может открывать взглядом пивные и нарзанные бутылки, он гнет (взглядом) ложки и вилки, а сволочь начальник отдела Филиппов под этим взглядом притих, съежился, забюллетенил и помер. Назначили другую сволочь, еще хуже, и тот недолго начальствовал. Потом еще погребли нескольких. А потом назначать стало некого, и остался отдел без руководителя.

Живи, дорогой Сергей Петрович, дольше, дай Бог тебе здоровья! Вся у нас на тебя надежда!

Понаделать бы из них гвоздей...

Аркадий Котляр закашлялся, да так, что глаза вылезли из орбит, покраснел и хрипло выдал: «Я больше не курю». И не закурил до самой смерти.

Борис Бушуев никогда в своей жизни не курил, но чтобы испытать себя, выколлот на руке $\pi = 3,14$ с точностью до тридцать второго знака.

Уникальная шутка природы

Когда-то очень давно в Китае Конфуций переплывал реку, сидя в лодке и обмахиваясь веером. По небу плыли чрезвычайно странной формы облака. И если бы Конфуций был обучен русской грамоте, то смог бы прочитать сложенные из них слова СЛАВА КПСС, но и все равно ничего бы не понял, а только недоуменно пожал бы плечами.

Про генерала

Генерал-лейтенант авиации в запасе Иванов (в прошлом страшный бабник) очень любил живую искрометную шутку. Сам шутил с 1953-го, оказавшись на пенсии, два раза в год и всегда следующим образом:

Ночью в квартире раздавался звонок и сиплый голос с акцентом требовал «гэнэрала и лэйтэнанта Иванова к трубкэ». Иванов вскакивал с кожного дивана и, звеня медалями и блестя орденами на мундире (спал всегда в такие ночи одетым), кидался к телефону и, не обращая внимания на короткие гудки, кричал: «Есть, товарищ Верховный Главкомандующий! Немедленно выезжаю!», и, повернувшись к жене, плохо выражавшей мимикой тревогу или страх (раньше лучше), говорил с придыханием и наморщив лоб: «Война, Маша. Меня в Ставку зовут. Прощай и не поминай лихом, коли что». Жена выдавливала звук, означавший рыдание, и лезла на антресоли за «тревожным чемоданом», в котором лежали белье, фонарик (чтоб светить в лесу или если бомбой завалит), кружка, вилка, нож, безопасная бритва и несколько томов Большой Советской Энциклопедии для более солидного веса и чтобы барахло не болталось и не брэнчалло. Последние десять лет (после рождения внука) сын и сноха не вставали его провожать, и это немного злило генерала. Посидев на чемодане, надев шинель и фуражку, Иванов громко хлопал дверью лифта и, насвистывая «Идет война народная», спускался вниз выкурить сигаретку. Потом, поднявшись, трезвонил в дверь и открывавшей жене, всегда радовавшейся, что шутка кончилась и можно еще поспать, объявлял: «Мир, Маша! Опомнились, гады!», а потом смеялся.

Прогноз погоды

Кроме синего пиджака со значком на дяде Васе надеты хлопчатобумажные штаны. В них относительно удобно волосатым, в венозных узлах, коротким, кривым и грязным ногам в столь жаркий час. Подумать только, 12 часов дня, а жара +36°С. Что же будет в 2? Про это никто ничего не знает, зато на завтра радио обещает днем +60° в тени, а ночью -15°, по области -20°. Просто не верится!.. Конечно, как прогрессивно думающие люди мы не ждем милостей от природы, но это полное свинство!

А на послезавтра обещало радио днем -60°, ветер слабый до умеренного, а ночью +70°, по области +75°.

А на послепослезавтра радио обещало ураган 12 баллов, а потом землетрясение в 12 баллов по шкале Рихтера (а я-то думал, что он только на рояле играет).

А на послепослепослезавтра обещало радио магнитную бурю (но это пустяки), цунами, подорожание на 223,5% всех алкогольных продуктов и отпуск их только с 13 до 14 часов, то есть в то время, когда магазины закрыты на обед. (Хитро придумали, гады!..) Совсем исчезнут сигареты с фильтром и без фильтра, спички и зажигалки (включая настольные).

А потом потемнеют небеса (обещает радио) и хлынет огненный дождь (температура до 3 тыс. градусов) и наступит конец света.

Собачья жизнь одного художника

Феликс сидит совсем без денег. За жилье не уплачено. Электричество отключили неделю назад. Телефон он так и не поставил, все собирался, собирался... Феликс сидит в драном кресле, закрытом драным одеялом, совсем без денег. Не на что купить чашечку кофе в бистро или пачку «Голуаз». Жить, конечно, можно. Есть друзья, они приглашают обедать или ужинать, можно даже выпить, даже напиться, но нельзя, например, пригласить красивую девушку Вероник в кино (54 франка минимум за два билета). Вероник скромная, но очень, очень красивая, и Феликс совсем теряет голову, когда ее видит. С каким бы удовольствием он швырнул бы к ее ногам полмира или вообще целый мир и скромно сказал бы при этом: «Мой подарок тебя ни к чему ни обязывает, честное слово, я просто хотел сделать тебе приятное». Но, увы, сейчас он этого не может. И страдает, страдает, страдает! Феликс гениальный художник, это говорят многие, но почему-то эти многие не покупают его картин. Ими заставлена вся его маленькая комнатка с косою стеной под крышей. Феликс охватил голову руками и согнулся:

— Жизнь моя собачья, распроклятая моя жизнь собячья. Ах, мама, зачем же ты родила меня такого?.. — и так далее, причем последующая мысль гораздо пессимистичнее предыдущей. Мне стало невыносимо на это смотреть, и я ушел от него, пригласив на ужин во вторник.

Потом прошло два месяца. Однажды в мерзкий январский гололед я увидел его издали на Сен-Мишель. Хвост волочился. Шерсть на морде была грязной, он хромал на одну ногу. Я сделал вид, что не заметил Феликса, и перешел на другую сторону.

Без названия

Сидит ящерица на теплом камушке, тело греет. А к ней сзади крадется животное, питающееся исключительно ими (ящерицами), не знаю, как называется, то есть по-латыни знаю, а по-русски нет... Животное — цап ящерицу за хвост. Та — раз, хвост оставила в лапах врага, а сама под камень — новый отращивать. Отрастила — и снова на камушек и сидит, греется, а животное не дремлет, кушать хочется ему, снова — цап ящерицу за хвост. Ящерица хвост оставила — и под камень, новый отращивать. Отрастила не без некоторого труда — и снова на камушек, а животное снова — цап!..

«Merde! — подумала с огорчением ящерица. — Не даст мне оно спокойно жить!..» — и перестала отращивать себе хвост. Животное, хватавшее ящерицу, совершенно вымерло, потому что не смогло перестроиться, приспособиться к новому способу охоты, ящерица же стала развиваться, усложняться и постепенно стала человеком.

Юрий Юрченко

Поэт, драматург, актер.

Родился в Одессе, в тюрьме, в 1955 г. Детство прошло на Колыме, в пос. Омчак. Работал на старательских приисках, рабочим у геологов, токарем на Магаданском ремонтно-механическом заводе, резчиком по кости и по дереву, художником-оформителем и дворником во Владивостоке, докером на о-ве Шикотан, художником-реставратором, рабочим сцены, артистом Грузинского государственного театра пантомимы. Окончил театральный и Литературный институты. Работал актером в драматических театрах Тбилиси, Владивостока, Хабаровска, Москвы. В 1989 г. выехал из СССР. Жил в Германии, Швейцарии, с 1992 г. — во Франции. Окончил аспирантуру Сорбонны (тема: «Истоки русского поэтического театра»). Автор восьми книг стихов и пьес. В 2004 году на Международном турнире поэтов им. А. С. Пушкина в Лондоне назван публикой Королем поэтов русского зарубежья; в 2006 г. — лауреат международного поэтического конкурса «Золотое перо» в номинации «Лучший поэт-лирик».

Член Союза писателей Москвы, Союза писателей России, Союза театральных деятелей России.

Начало романа...

(отрывок)

Он родился в тюрьме, может быть, поэтому у него всегда возникало напряжение и ощущение опасности, когда он видел человека в форме. Даже когда человек в форме, вот как сейчас полицейский, излучал дружелюбие. Это напряжение, этот страх были, очевидно, в крови и избавиться от него, стряхнуть его было не так-то просто и, наверное, уже невозможно. Можно было сменить все, начать новую жизнь, носить новые вещи, обзавестись новыми друзьями, пересечь несколько границ, поменять профессию, имя, всё можно было начать заново, но только это ощущение приближающейся опасности при виде полицейского не проходило. Полицейский что-то ему сказал. «Ви, битте?..» — переспросил он. Сержант повторил, показывая жестами вокруг, на окно. Он понял: полицейский говорит ему, что здесь, в городке, хорошо и что ему повезло, что он попал сюда, к ним. «Да, — закивал он головой, — я знаю, мне очень повезло, данке, хиа зер гут, вери найс, же сюи трезорё!..» Полицейский попросил его подойти к планке у двери, измерить рост. Затем стал подробно описывать приметы: цвет волос, глаз, шрам на брови. «Черт, — ругнулся он про себя, — надо было волосы стряхнуть вниз, на бровь, он бы шрам не заметил...» — но тут же подумал: зачем?.. Какая разница, запишет он шрам или нет в особые приметы, — эта привычка с детства — стараться все предусмотреть, предупредить опасность, чтобы ничто не могло помешать затеряться, спрятаться, исчез-

нуть. Все, тебе больше нечего бояться, ты в нормальной цивилизованной стране, ты поэт, артист, а не уголовник, не террорист, не налетчик. Ничего, зато он не заметил, что у меня уши торчат — волосы скрывают и воротник поднят. Второй полицейский просит подойти к нему. Отпечатки пальцев. Полицейский извиняется, разводит руками: ничего не поделаешь, «Пробирен...» Пробирен, так пробирен, хотя это совсем уж ни к чему, да ладно, давай, печатай. Долго и старательно, все пальцы, каждый отдельно, потом снова оба указательных, потом оба больших, потом все десять вместе. Полицейский провожает в туалет, дает мыло, какую-то пасту, ждет, пока Зона отмоет руки, он смущен, ему неудобно, что «русише шрифштхиле» придется подвергаться такой унижительной процедуре. Ладно, спасибо, я могу идти? Данке зер за всё. Как учил Вадик, здесь, главное, все время улыбаться и говорить спасибо. Здесь расписаться, это взять с собой. Большая текстура по-немецки, это он должен на досуге прочитать, чтобы знать, что можно, что нельзя. Ладно, и так все понятно. «Видерзейн!» Это он демонстрирует беглое баварское произношение — глотая приставки и окончания. Домой. В свою каморку под крышей, в отель с серьезным названием «Храбрый Лев». Вокруг магазинчики игрушечные, люди улыбаются, все ходят, раскланиваются друг перед другом: «Грюс Готт» — «Грюс Готт». Ласковые... Хорошо! А в отеле девочка мелькнула, тоже ласковая, что-то она там при кухне делает? — кажется, как-то она т а к посмотрела, надо бы ее в номер затащить, но, конечно же, она замужем, и муж ее тут же, поди, крутится, наверное, этот улыбчивый толстячок, который мне ключи от номера давал. Ну и что, что муж? Ей, наверное, скучновато на кухне, а тот всё хозяйством занят да барыши подсчитывает, а тут — на тебе, такая романтика, русский писатель, нет, надо ее затащить, вот и смысл какой-то существования здесь появился, и настроение сразу поднялось. Оказывается, и здесь, в Альпах, на границе с Австрией, на юге Германии, в этом маленьком красивом курортном городке, можно жить! Вот, оказывается, чего не хватало для того, чтобы все это великолепиие — этот туман, стелющийся понизу, горы, будто бы вырезанные из фанеры, разрисованные и расставленные, как в огромном театре, вокруг, обрамленные «лесом зубчатым», как говаривал Александр Блок, небо, высокое, ясно-голубое — вот чего не хватало для того, чтобы вся эта красота обрела форму и смысл: маленькой девочки, копошащейся за стойкой. И пусть потом, в итоге, ничего с ней и не выйдет (но в душе-то ты уверен, что — выйдет!), пусть окажется самое невероятное: что она безумно любит своего пухленького кока, но пока — все неизвестно, все полно обещаний и намеков, и уже утром, вместо того чтобы спать до самого завтрака, ты встанешь пораньше, сделаешь зарядку, побреешься, простучишь себя по груди, нащупывая тембр: «Карл у Клары украл кораллы», выберешь рубашку джинсовую — из новых, и — вниз, к завтраку, не суеясь, не торопясь, не ища ее сразу глазами по всему ресторану и даже как бы забыв о ней: не сегодня — завтра, не завтра — так когда-нибудь она опять мелькнет, стрельнет глазами и, может быть, если повезет, тебе подвернется момент спросить ее: «Ссори, ю а мериед?» или нет, надо это выучить по-немецки: «Эндшюльдигунг, вы замужем?». И — тоже по-немецки — «Жаль...» Хотя по-английски это даже романтичнее. Старый козел, — подумал он, и тут же возразил, — ну, почему же старый — тридцать пять лет, и по всем признакам, жизнь только начинается...

...Он родился в тюрьме, в Одессе, вернее, в тюремной больнице. Мать его приводили несколько раз в день к нему — кормить. Потом его ждала судьба тысяч других его братьев и сестер, судьба обычная для того времени — детприемник, детдом и, если повезет, дожидаться, пока за ним не придет мать... Но шел уже второй год после смерти Сталина, и осенью 1955-го вышел указ, по которому женщины беременные и с грудными детьми амнистировались. Ему было уже восемь месяцев, когда мать вышла с ним на свободу. Однако проживать ей постоянно «рекомендовали» в пределах Магаданской области. Родного отца он не знал, потом только он узнал, что это — человек, просидевший в тюрьмах и лагерях, с короткими антрактами, всю свою жизнь.

Весь их небольшой поселок населяли такие же люди, как и его мать, все они отсидели по многу лет, где-то на зоне или на поселении перезнакомились, пережились и, освободившись, тут же, около лагеря, который был как бы частью поселка, и остались жить. Многим из этих людей в больших городах жить было запрещено, а многие просто уже и боялись уезжать: ходило много рассказов о том, как люди, долгие годы прожившие на Колыме и уехавшие потом на «материк», очень быстро там умирали: организм, за долгое время уже приспособившийся к *этой* жизни, обратно перестраиваться не хотел. Так люди и доживали там, в поселке. Дети их ходили в школу, стоявшую на самом краю поселка, чуть дальше за ней начиналось кладбище, которое почти сразу переходило в лагерь: заканчивались могильные холмики нормальные — с цветами, с фотографиями, с пожелтевшими венками и лентами: «Милому отцу... мужу... брату...» и начинались серые, ржавые безымянные кресты — это шли могилы заключенных. Там, в поселке, как только он начал себя осознавать, он уже *знал*, что есть *свой* мир — это их соседи, родители его друзей — хорошие, добрые и не очень хорошие и добрые, но *свои*, и есть *чужой* мир, мир людей в форме. Впрочем, он прекрасно понимал, что не все люди в форме — враги, есть прекрасная Советская (Красная) Армия, которая победила белогвардейцев и освободила мир от фашизма, и он сам мечтал служить в этой Армии, но эта Армия, в которой служили сильные, честные, веселые, добрые люди, была где-то далеко, в Москве, наверное, или охраняла наши границы от полчищ врагов, но здесь форма означала — «милиция», или «конвойные войска». Слова «конвой», «лагерь», «вышка», «зэк», «побег», «тревога», «зона», «колючка» входили в его сознание как слова «мама», «Ленин», «садик», «школа», «небо», «сопки»... В день по несколько раз через поселок провозили в «воронках» заключенных — на работу, на обед, с работы. *(Их провозили мимо школьного двора и иногда — то ли школьная лошадь везущая бидоны с молоком, то ли телега, выезжающая из соседней котельной, перегораживали дорогу, — «воронок» притормаживал, и, если была перемена, мы видели в маленьком зарешеченном оконце их небритые худые лица в полосатых беретах, они смотрели молча на нас, а мы на них, они всегда ждали этого момента, и обычно, кто-нибудь из них нам бросал в окно деревянный пистолет с оттягивающимся на резинке бойком или еще что-нибудь. При этом тот, кто бросал, кричал: «Сынок, это т е б е!», имея в виду кого-то из нас, особо ему приглянувшегося. В общем-то, мы и без этого их часто видели, они работали в поселке, что-нибудь все время строили, но так близко, чтобы можно было разглядеть черты лица и морщинки, глаза, так — только когда машина тормозила у школы...)*

Иногда, среди ночи, весь поселок просыпался от стуков в двери, лая собак — по дворам с овчарками ходили солдаты, кого-то искали — побег. Однажды побег был совершен среди бела дня, и вся короткая трагическая история этого побега разворачивалась на глазах у всего поселка. Что-то заставило двоих эков бежать днем. Потом говорили, что то ли они кого-то проиграли в карты, то ли их кто-то проиграл, в общем, и так и так им был один конец. Что-то они подожгли на зоне, что-то такое, что очень дымило, и этим дымом затянуло пол-лагеря. И потянуло на сопку. Они и рванули прямо на проволоку пока их не было видно, но только ветер, вдруг, на беду, резко изменился, и они — как на ладони — по лысому распадку карабкаются. Поселок — у самого подножья сопки, а лагерь — чуть выше, длинным высоким забором с колючей проволокой уже на сопку взбегают, и поэтому из поселка, снизу, все очень хорошо видно, как будто кто специально массовое действие организовал по случаю какого-нибудь праздника. В общем, поднимаются из распадка они, а за ними — метров через триста — трое солдат, и тот, что впереди, солдат, им что-то кричит, а потом стреляет, но сначала очередь-то явно выше прошла, он в них и не целился, они дальше бегут, причем, как бегут — не очень-то по сопке побегаешь, — так, лезут по камням, спотыкаясь, дотянуть до кустарника пытаются, а он, этот же солдат, что вверх стрелял, опять, да только теперь прицельно, и одной очередью обоих и положил. Когда пацаны поднялись к ним, они уже лежали спокойно, а рядом мальчишка-солдат катался по земле, плакал. Один из эков был молодой, лет двадцать пять, а другой постарше. У того, что постарше, вся телогрейка сзади по диагонали была вспорота очередью. А у молодого все пальцы в земле и в крови, еще, видно, несколько минут жил, землю царапал. Так они и лежали, до следующего дня, тряпкой одной накрытые, под охраной, пока из Магадана комиссия на вертолете не прилетела. А солдату этому отпуск дали — десять дней.

Над школой — в полкрыши — плакат: «ЗА ДЕТСТВО СЧАСТЛИВОЕ НАШЕ — СПАСИБО, РОДНАЯ СТРАНА!» Что ж, детство у него действительно счастливое было — он же не знал, что бывает и другое...

Потолок в его номере был скошенный и это ему нравилось, как нравилось и небольшое окно, выходящее на крышу, — все это совпадало с его представлением о том, как должен жить художник. Окно, хоть и небольшое, но вмещало в себя достаточно много: в него попадала и незамерзающая всю зиму речка, и несколько огромных елей слева, и аккуратные красивые домики, и дорога с пробегающими по ней разноцветными игрушечными машинами, и, главное — близкие, вплотную обступившие городок горы. По ночам иногда он просыпался от стука — ветер стучал по крыше, в горах был буран, грохот и вой ветра были совсем рядом, и это тоже ему нравилось. Вообще, всё, что с ним сейчас происходило — происходило как бы не с ним, а с кем-то другим. У него было ощущение, что он смотрит какой-то фильм, и сам он — отстранился, затаился в зале, а кто-то похожий на него живет в этом номере, ходит днем по улицам городка, здоровается с людьми, спускается в ресторан обедать, бродит по горам... В этом фильме *ничего не происходило*, но это-то как раз его и привлекало: в его жизни всегда так много всего происходило, что он никак не мог поверить, не мог привыкнуть к мысли, что может быть вот такая

жизнь — спокойная, размеренная и вместе с тем необычайно наполненная чистым горным воздухом, ровным глубоким дыханием, п о к о е м... И он готов уже был поддаться этому течению, готов был уже вместе с героем этого фильма вдохнуть полной грудью туман, заползающий в окно его комнаты, но что-то мешало ему, что-то не отпускало его до конца, и он знал, что это. Он привык, что за всё надо платить, и за этот неожиданный покой, подаренный ему кем-то, тоже рано или поздно с него спросится. Но он отгонял эту мысль, начинал думать о том, что надо воспользоваться этой передышкой и сесть за работу. Он так долго говорил всем, что он писатель, что пора уже было что-то и написать. Он решил, что это должен быть роман. Только вот о чем роман. Может быть, просто описать все, что с ним сейчас происходит, описать эту зиму с остановившимся до весны действием? Он назвал бы этот роман «Зима в горах», красивое название, только так уже назвал свой роман Джон Уэйн. Почему всё до него уже названо и написано? Можно было бы написать еще одну книгу о р е ж и м е, и об ужасах нормальной человеческой жизни, из которой он вырвался, ему было о чем написать, он хорошо знал ту жизнь, но он не хотел себя обманывать. Он никогда не был ни борцом, ни политиком, и сейчас, когда уже режим дышал на ладан, рвануться вдруг на уже пустые баррикады было бы смешно. Всё должны делать профессионалы. Было только одно, о чем он хотел бы по-настоящему написать, но он не знал, как к этому подступиться. Вообще-то, он не считал себя писателем, писатель — это слишком громко, нет, он был поэтом, а поэтом называться ему было как-то неудобно. «Вы кем работаете?» — «Поэтом». Поэт, он считал, это не профессия, человек просто или поэт — или нет, и совсем необязательно ему, чтобы доказать, что он поэт — выдавать в день по стихотворению. Поэтом сделала его любовь, вернее, не так, — поэтом сделали его женщины, которых он любил. Он занимался в жизни многим, учился разным профессиям, но быстро забывал их — как забывается все неродное, неорганичное, то, к чему у тебя нет призвания, но ты вынужден был какое-то время этим заниматься, чтобы жить. Были среди его разнообразных занятий и такие, что нравились ему, и он втягивался, и это дело даже становилось частью его жизни, как было с театром, и все-таки единственное, в чем ему удавалось выразить себя по-настоящему — это в стихах, в лирике, точнее — в его «монологих» о любви. Написанного было немного, но это его не смущало, он не спешил, он знал, что когда *придет время — напишется само*, и мог по году не писать, занимая паузы переводами из грузинской поэзии или делая пьесы в стихах для музыкального театра, вглядываясь в каждую красивую женщину, возникающую около него, и вслушиваясь в себя: не *о н а* ли?... Ему везло — женщины, действительно, были всегда — или почти всегда — красивые и талантливые, то ли так случайно получалось, то ли потому, что он притягивал именно таких. Там, раньше, ему некогда было остановиться, оглянуться и подумать о них обо всех, там все время была какая-то одна, конкретная, или две, или три, которые требовали внимания и любви, и все силы уходили на заботы о том, как бы ни одной из них не причинить боль, и всех хотелось сделать счастливыми — все были достойны этого, и сознание, что это н е в о з м о ж н о, и в результате — все несчастны, и он — больше всех, и новая встреча: может быть — эта?.. — и снова, и снова.... И есть ли другая жизнь, и — Господи, — нужна ли она, другая...

И вот здесь впервые у него появилось время, как будто для этого действительно надо было подняться на гору и оглянуться, и они — все — стоят внизу, в долине, и смотрят на него, теплый ветер чуть шевелит волосы и подола платяев... и чуть в стороне, как обычно, чуть в стороне — Алла, Боже мой, Алла!.. Я люблю вас, всех — от кого я ушел и кто оставил меня, вы любили меня, а если и не любили — спасибо за то, что обманывали меня, вы воспитывали меня, вы учили меня жизни, вы делали из меня мужчину, вы сделали меня таким, какой я есть, и — плох я или хорош — спасибо вам за это! Я благодарен вам всем, и в моей жизни вы всегда останетесь молодыми, красивыми, талантливыми, добрыми, каждая из вас достойна романа, но Бог не дал, к сожалению, мне этого дара — писать романы, и если б даже и дал — я уже не успею написать о каждой из вас книгу; я чувствую — а если б я не умел предчувствовать, я бы не был поэтом, — я чувствую, что у меня не остается времени, и поэтому я посвящаю вам — всем вместе и каждой в отдельности — этот один, пока еще не существующий роман, который я все-таки попытаюсь написать...

Первая любовь настигла его в поселковом детском саду, и протекала она достаточно трагично. Он влюбился в близняшек, в сестер Забугорновых, то есть влюбился в одну из них, но никогда не знал — кто из них кто. Он страдал, мучился, ко всему еще — они всегда ходили вместе, что осложняло возможность объясниться, наконец. Он ждал с надеждой, что одна из них заболеет и не придет в садик, но болели они тоже вместе: одна подхватит какую-нибудь простуду — болезнь тут же передавалась сестре. Иногда ему казалось, что он любит обеих, но он уже понимал, что любить двоих нельзя — аморально. Надо полюбить одну и на всю жизнь. «Если ты одна любишь сразу двух — значит, это не любовь, а только кажется...» Но что было делать в его случае?.. Однажды сестры под аккомпанемент на старом пианино (в Красном уголке, где до того дня на этом самом старом пианино под руководством немки Алисы Карловны исполнялись только «В лесу родилась елочка» и «Во поле береза стояла...») спели неожиданную и страстную песню:

Есть в Индийском океане остров,
Название его — Мадагаскар.
И Томми, негр саженного роста,
На клочке земли там проживал.
С белой Дженни в лодку он сажился,
Когда последний луч уж догорал,
А когда домой он возвращался,
То тихо под гитару напевал:
«Мадагаскар, страна моя,
Мадагаскар, земля моя,
Здесь, как и всюду на земле, цветет весна.
Мы тоже люди,
Мы тоже любим,
Хоть кожа черная у нас, но кровь чиста...

Дальше шел рассказ о том, как отец Дженни, банкир, проклял дочь, а Томми — негра саженного роста — суду американскому отдал:

...Перед разъяренною толпою
Томми с той красавицей стоял,
Взгляд его туманился тоскою,
Он тихо под гитару напевал...

Его взгляд тоже туманился тоскою, он незаметно утирал слезы: ему было невыносимо жаль Томми, он, как никто, мог понять его, он тоже любил и, пусть по-другому, но тоже столкнулся с неразрешимой проблемой. Наверное, с этой песни, исполненной в затерянном в тайге колымском поселке сестрами-близняшками Забугорновыми, одну из которых — или обеих — он любил, зародилась в нем ненависть и нетерпимость к любому проявлению расовой дискриминации, во всяком случае, судьба негров его всегда волновала. Эта песня перевернула в нем все и придала ему мужества: он в этот же день объяснился в любви обеим сразу, пообещав их любить всю жизнь. Сестры, подумав, ответили взаимностью и через некоторое время он вступил с ними в порочную связь. Связь происходила следующим образом: пригласив сестер на чай с конфетами к своему другу Кириллову, когда у того родители работали в вечернюю смену, и выпроводив Кириллова погулять (тот согласился, во-первых, потому, что понимал — у товарища все серьезно, а во-вторых сыграла роль «взятка» — тридцать копеек). Он положил сестер на ковер, раздел их, подбросив предварительно в печь дров, чтобы сестры не замерзли. И вступил поочередно с ними в связь, ерзя животом то на одной, то на другой и поклявшись опять любить их вечно. Кириллов не выдержал и подсматривал все это в окно, продышав себе маленькое отверстие.

Матери хотелось дать сыну какое-то имя понеобычной, поярче, Иваны или Федоры ей не нравились, а нравилось ей красивое имя Зиновий. Ну, а товарищи его детства, вместо ожидаемого «Зяма», переделали Зиновия в более для них органичное «Зона»... Он рос не самым отъявленным хулиганом, нет, но было в нем что-то такое, что заставляло всех взрослых относиться к нему настороженно, с опаской. В нем было *нечто*, что было похуже, чем хулиганство, — с теми, с хулиганами, все было понятно, и меры пресечения тоже были понятными, испытанными и, до какой-то степени, надежными. Здесь же было другое. В нем — может, это объяснялось отчасти местом рождения, хотя, что он мог понимать тогда, грудной младенец?.. — в нем с ранних лет ощущался какой-то дух н е п о в и н о в е н и я, упрямства. Дух н е з а в и с и м о с т и . И родители других детей, угадывая в нем «гадкого утенка», советовали своим детям поменьше дружить с ним, понимаяще переглядываясь между собой: «Ну, с *этим* все ясно. *Этот* из тюрьмы не вылезет».

Вся его детская жизнь состояла из побегов и романов.

Он убегал отовсюду — из детского сада, из пионерлагерей, из больницы, из дома. У него было действительно счастливое детство, потому что он не знал ограничений и запретов, которые подстерегают на каждом шагу городского ребенка; он выходил из дома — перед ним лежала огромная, бесконечная тайга, сопки тянулись к горизонту, и вольный воздух свободы кружил ему голову. И в этом бескрайнем море свободы нелепыми казались разбросанные то тут, то там по тайге квадратики заборов с колючей проволокой и вышками по углам. Он не любил замкнутых пространств. Даже потом, когда он вырос и уже много лет жил в городе, он с трудом заставлял

себя спускаться в подземные переходы, всё в нем сопротивлялось: вот, кто-то за него решил, что он должен почему-то именно здесь переходить дорогу. В прекрасном городе Владивостоке он особенно любил главную улицу — Светланскую (она давно уже так не называлась и все равно — для него она оставалась «Светланской»), она выходила прямо к морю, и большая ее часть была открыта морю. Длинная, она — может быть, единственная главная улица из всех больших городов страны — не имела ни одного подземного перехода, но потом все-таки переход вырыли и вдобавок воздвигли огромное партийное здание, тень от которого закрыла красивейшую часть улицы и которое отрезало ее от моря, и она стала для него «улицей Ленинской», такой, какая есть в каждом городе.

Когда ему было года три-четыре, с ними стал жить его отчим — молдавский еврей Эммануил Моисеевич Рашкован. Сначала он к ним просто приходил — он был на поселении — досиживал свое. Во время войны его, капитана авиации, взяли по доносу и трибунал присудил «вышку». Но родственники в Москве дошли до самого высокого начальства и ему заменили на двадцать пять лет, отсидел он, в общей сложности, восемнадцать. (Любопытно, что когда Зона в двадцать два года познакомился с *родным*, то узнал, что тому тоже первый приговор — расстрел — заменили на 25, но на этом сходство заканчивалось — родной был уголовником.) Отношения с отчимом у него не сложились. Тот заставлял называть его «папа», и когда он поначалу забывал и обращался по-привычке: «Дядя Миша», тот его бил и ставил в угол до тех пор, пока «сынок» не проникался родственными чувствами и не спрашивал: «Папа, за что?..» Он начал убегать из дому. Жил у соседей, добрых, вечно пьяненьких Абрамовых, у которых было много детей, и — одним больше, одним меньше — они и не замечали. Приходила мать, плакала, просила: «Отдайте сына», и старая Абрамова, предлагая ей стакан водки, говорила: «А что? Он сам приходит, мы его не тянем. Он придет, спину покажет — вся в полосах от ремня, так разве ж я его выгоню?..» Иногда, когда мать работала в ночную смену (она работала насосчицей на золото-извлекательной фабрике: при поселке был рудник, а при нем — фабрика им. Александра Матросова), и у них с отчимом происходил очередной конфликт, он убегал на сопку, кое-где уже лежал снег, укладывал на землю ветки стланика — ими же и укрывался, и так, дрожа от холода, пытался уснуть до утра. Зимой, когда было уж совсем холодно, он ночевал в больших деревянных коробках, врытых в землю, в которых сходились узлы парового отопления. Там его и находили — или мать, или его — с первого класса — учительница Раиса Карповна. Иногда, когда ссора с отчимом (или когда просто домой возвращаться нельзя было: из школы позвонили, или соседи пожаловались родителям) совпадала со сбором поселковых парней постарше на охоту, они его брали с собой. Это были лучшие его дни и ночи. Они уходили на несколько дней в тайгу, днем или ловили рыбу, или пристраивали что-нибудь к охотничьей избушке, а ночью, под утро, уходили на озера в засаду — подстерегали уток. В его задачу входило поддерживать огонь и приготовить какую-нибудь кашу к приходу добытчиков. У него было свое ружье, подаренное ему соседом-холостяком, который тоже иногда брал его с собой на охоту. У ружья был чуть кривоватый ствол, но на глаз это было почти незаметно, и потом он к нему пристрелялся и бил без промаха, и никто, кроме него, попасть в цель из этого ружья не мог.

Уходил он в тайгу и один. Он достаточно хорошо ориентировался и обязательно всегда выходил к жилью. Так однажды после нескольких дней блуждания, он вышел к поселку, который был за сорок километров (дальше по трассе) от его дома. Там он попросил молока на ферме, пожилая доярка напоила его, дала хлеба и привела домой. Он рассказал ей и ее мужу-инвалиду какую-то хватающую за душу, тут же придуманную им историю о том, как он потерял родителей, и старики оставили его у себя. Но через несколько дней, когда он пытался набросить самодельную уздечку на местную сохозную лошадь, его поймали, привели в поссовет, а там, вдруг приглядевшись повнимательней, отвели в пустую комнату, заперли и начали куда-то звонить. Оказалось, что уже неделю его, с вертолетами, ищут по тайге, все мужчины его поселка уходят в сопки — тоже ищут. Из поселка за ним прислали лагерный «воронок». Он был уверен, что теперь отец (он привык и называл отчима отцом) убьет. Тот, действительно, только его увидел — взялся за полено, но мать не дала, она только плакала все время и целовала его. Она-то и раньше сама его била не часто, и даже, когда отец бил его при ней, просила: «Миша, только по голове не бей...»

В тринадцать лет он убежал надолго, а в четырнадцать ушел из дома совсем.

Это о его побегах. Романы же... Ах, да что там говорить, любовь всегда занимала очень много места в его жизни. Пережив несколько сильных потрясений в детском саду (одно из них было описано выше), он с нетерпением ожидал первого сентября, надеясь, что там, в школе, начнется новая жизнь, и появится та, которая будет достойна того, чтобы он посвятил ей эту свою новую жизнь. Достойных оказалось много. И до седьмого класса он пытался разобраться в одолевающей его буре чувств и эмоций. То он был влюблен в отличницу из своего класса, то в участницу школьной самодеятельности из параллельного, то в старшеклассницу, то просто в пионервожатую, то в девочку из другой школы и из другого поселка, — она приезжала к ним в школу поделиться опытом с местными отличниками. Между этими — школьными — историями были пионерские лагеря... Потом, когда ему самому было уже много лет, он пытался и не мог себе представить, какими они стали, девочки, которых он любил в те годы, он не мог представить их взрослыми, толстыми, усталыми женщинами, у которых у самих уже по несколько детей, которые работают продавщицами и парикмахершами, ругаются с клиентами, стоят в очередях за продуктами, бьют детей за плохие отметки, спят с нелюбимыми мужчинами... Нет, как он ни старался себе это представить — не мог, для него они навсегда остались тоненькими девочками в школьных фартучках, рапортующими начальнику Совета дружины об успехах класса, или танцующими в черных атласных шароварах на клубной сцене нерусский танец «Сиртаки», или поющими под пионерлагерскую гитару: «Я мечтала о морях и кораллах, я поесть мечтала суп черепаший...» Во время обязательных ночных облав, организованных руководством лагеря, его все время находили в женских комнатах, в нем уже просыпался поэт! Да, они остались для него такими — юными, красивыми, трогательными, загадочными, таинственными, жестокими, коварными, нежными... О! Ради них он был готов на все, на любой подвиг, ради одной из них он бросил пить и курить.

Было ему тогда четырнадцать лет, но история эта началась несколько раньше...

Алекс Сандерс

Родился в Швеции. Занимается поэтическими переводами с английского, немецкого, испанского, украинского, китайского, японского. Постоянный участник международных турниров «Твёрдых Форм Востока», проходящих в Японии, Швеции, США. Автор поэтических сборников: «Окраина сердец» (1996), «Далекое близкое» (1998), «Живите в мире» (1999), «Пока я искал слова» (1999), «Лилия и лотос» (2000), «Середина осени» (2001), «Крылья мотылька» (2001), «Над пропастью снов... шёпот шёлка» (2006, 2007) в соавторстве с поэтом из Финляндии Еленой Лапиной-Балк, участник коллективных сборников. Стихи публиковались в антологиях, альманахах и журналах России и Европы. Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

Где в этом мире

Танка

где в этом мире
сердце покой обретет
летнее утро
гомоном птичьим меня
снова в дорогу зовет

домик под вишней
сладкое время надежд
мог ли представить
смыли дожди тишину
тёмных июньских ночей

я потерялся
куда ведет дорога
ночной печали
твой парус одинокий
одна моя надежда

тонкие грани
как сохранить красоту
чистого света
я нарисую луну
белою тенью твоей

немеют руки
и седина не красит
а ты как будто
новорождённый месяц
впервые засияла

Сухие строки*Танка*

сухие строки
безжалостное пламя
ничтожный пепел
что рассказать он сможет
о пламени сердечном

вуалью белой
покрыли небо сливы
душистым снегом
просыпались в ладони
луны цветущей вздохи

если ты слышишь
крик этой птицы ночной
в городе шумном
значит и ты одинок
сердцем среди темноты

глупый ребенок
снова смотрю на тебя
то же сиянье
сколько воды утекло
из пересохших морей

старые сливы
спорят своей белизной
с лунным сияньем
только исчезнет луна
льются неслышно в окно

забытый образ
перебирает память
разлуки струны
не исчезай бесследно
луна февральской ночи

открою глаза
как ярко она светит
утраченный сон
никогда не вернется
в сияющую пустоту

Одесса-мама

Сэрию

встречает ветром
жемчужина у моря
без хлеба-соли

* * *

бежит собака
сичу один на пляже
собачий холод

* * *

ласкает солнце
мои густые брови
боюсь щекотки

* * *

первая зелень
лучше б в карманах шуршала
а не на ветках

* * *

в подвалах старых
всё также чинят обувь
и власть ругают

* * *

Кармен в отъезде
парадное закрыто
сезон ремонта

* * *

всегда в расцвете
кто б ни писал законы
Одесса-мама

* * *

а Дюк железный
и шо он вам мешает
и есть не просит

* * *

опять потемки
я зря считал ступеньки
лестница в небо

*6—13 апреля 2005
Одесса*

Игорь Белкин

Живет в Эстонии. Участник коллективных сборников: «Пусть нам станет родиной дорога», 2007 (Германия, Мюнхен), «Edita», 2007 (Германия), «Иные берега», Хельсинки (2005, 2006), «Пятница», 2006, «Суббота», 2007 (Новосибирск). «Лепестки ромашки», 2008 (Новосибирск). Победитель международного поэтического конкурса «Время любить», 2008 (Новосибирск). Автор поэтического сборника «Состояние души», 2008 (серия «Тайвас» Геликон Плюс, СПб).

Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

* * *

Влачащим крест
под тяжестью небес
не отразить сегодняшнее нервное
в зрачки летящих птиц,
а череду границ
им пересечь немислимо, наверное.

Зацвёл терновник или не зацвёл,
он всё равно колюч
и жгуч;
и ореол,
рисованный благой иконописью,
скрыл слабость тела от всеильной мысли.

Чужая грязь
на сердце запеклась
и коркою легла на постоянность;
оборки на цветистых сарафанах
Сварог с Перуном спрятали в ларец:
влачи свой крест, юнец,
за богоданность,
нам дела нет до сумрачных сердец,
запавших за духовную нирвану...

* * *

По гражданственности дней
Не хочу бежать павлином,
Мне бы утвердиться в клине
Вдаль летящих журавлей!

Опираясь на крыло,
Время рассекать со свистом
Над туманным и лучистым
Миром, не таящим Зла.

И под выстрел из ружья,
Обагривший оперенье,
Не влетать усталой тенью
Из цветного бытия...

* * *

До чего же странен мир покоя,
До чего похож на пастораль!
Может быть, создал его Лукойя,
Временно не всматриваясь вдаль?

Близ реки рябины кружевные,
За рекой клубничные места...
Для чего нужны миры иные,
Если здесь бытует Красота?

У Лукойи в голосе смешинка,
Взгляд непостижимо озорной,
Он живёт и мыслит по старинке,
Я живу и мыслю новизной.

В заливных озёрах плещут щуки,
Рядом двухсаженные стога,
Изогнулся месяц жёлтым луком,
Но не в ожидании врага.

Можно бы слагать об этом далее
Грустные стихи, но не могу
Разрушать цветные пасторали
На давно забытом берегу.

Извини, Лукойя, не сумею
Я с тобой смеяться наравне,
По душе мне ближе берендеи
В навсегда покинутой стране!

* * *

Когда человек под замком, романы не пишутся плетью,
А молча секутся клинком на грубой щеке лихолетья.

Да-да, и не спорьте со мной, живое рождается с болью,
Звнящей басовой струной, натёртой былой канифолью!

Иначе роман — не роман, простое бульварное чтиво
Для раскрепощенья ума, запавшего с детства в стыдливость.

Кольшется веер страниц, стекают слова непредвзято
На писк беззаботных синиц, не ждущих ни зла, ни расплаты.

Платить-то, позвольте, за что? Не хочешь напрячься — не нужно,
Глаза прикрывая зонтом от ярости авторской вьюжной.

Он, автор, не крал у эпох ни слова, ни крика, ни свиста,
А кровью выписывал вдох и выдох закованных истин...

* * *

...а строки лёгкие нагие
напишутся мной утром ранним,
когда по лестнице желаний
отшелестят шаги богини
не грёз моих, не песнопений
из романтического «далёко»,
и не подсказанное Блоком
одно из неземных видений.

Ты явь моя, земное чудо,
ты не Туманность Андромеды,
об этом знают все соседи
и не знакомые нам люди;
когда тыходишь в постоянность
прихожей, шелестя авоськой,
то кажешься ещё желанней,
чем Глория, простите, Тоска.

Я улыбаюсь... вновь нагая
и на губах янтарность рома...

над нитью жаркого нихрома
глазкí яичницы моргают
и происходит раздвоенье —
мы здесь и в то же время где-то,
не в Старом и не в Новом свете,
а в странном летосчисленьи...

* * *

Делось чувствами,
больше у меня ничего нет,
всё раздал детям, вплоть
до последней копейки,
осталась только собственная плоть,
безыскусная,
словно пение канарейки,
да Слово, стекающее на лист
бумаги писчей
и перечёркнутое сто раз —
я же не протоколист,
снабжающий канцелярию пищей
выпрямленных нелепых фраз.

Не понравится — не берите,
не буду настаивать,
сам передумаю —
плохо,
хорошо ли
я донёс до тебя, зритель,
чертополохи
колющей боли.
А о радостном и цветном
предоставлю говорить другому,
переполненному добром,
но не открывающему закрома
души
родственникам или знакомым.

Господи, не спеши
осуждать его за благородство ума,
пустословного, словно плевелы,
и дай мне дожить свой век
бесхитростной Орлеанской Девой!

* * *

Вся королевская рать
встанет стальной стеной,
если я стану лгать
Вам о любви земной;
прикосновеньем одним
день перетку на мрак,
ночь переплавлю в дым,
сам распылюсь во прах.

Стонут колокола
не по моей душе,
трещина оплела
стёкла на витраже;
я подыграю Вам,
дайте свою ладонь,
чтоб начертать слова:
я не троянский конь!

Нет, не хочу сгорать
пламенем у свечи —
вся королевская рать
вымахнула мечи —
знает, что обману,
знает, что перельюсь
заново в тишину
и в одинокость-грусть...

* * *

Не став ни бытиём, ни раем,
Не солнцем, через линзу жгущим,
Я дымкой Вечности истаю
В твоём действительном и сущем.

И ничего не рухнет разом,
А ты пройдёшь и не заметишь
Моих восторженных фантазий,
Рисованных на фиолете
Ночного неба...
Не печалься,
Ведь я не больше, чем пришелец,
И продолжай скользить по вальсу
К испытанному менестрелю!

Он долго шёл к своей победе,
Слагая оды-серенады,
И что тебе случайный лебедь
С опустошённостью во взгляде?

* * *

Волнения чужих минут,
душевный вызывая зуд,
бегут мурашками по коже,
и я шутить не расположен,
когда от кровеносной дрожи
трещат сосуды там и тут.

Страшась, кричу: не плюйте, люди,
в колодцы пересохших судеб,
в забвенья прошлого мирка,
где пловом на остывшем блюде
лежит забытое «пока»
с потенциальностью курка.

А я в наличное меню
себя, уставшего, вгоню,
на миокард влеплю табличку:
«Я здесь вчерашнее храню!» —
и с обречённостью привычной
отдамся нынешнему дню.

А там опять нагрянет вечер,
а я без козырей, и нечем
мне будет крыть туза червей,
обнявшего тебя за плечи, —
ты в белом платье подвенечном
в чужой колоде, не в моей...

Алексей Березин (США)

Родился в подмосковных Мытищах, окончил Бауманский университет, работал инженером в одном из оборонных НИИ. С середины девяностых живёт в Нью-Йорке, работает программистом. В нерабочее время — поэт-пародист. Неоднократный победитель поэтических конкурсов.

Публиковался в периодических изданиях России, Украины, США и Канады.

Молчание фиגнят

*Лишь попытки к тебе бесконечны.
Слез уж нет, просто в небо молчу.*

Владимир Калинин

Истощённый любовною жаждой
Вопреки вероломной судьбе
Я пытался к тебе не однажды,
Раз пятнадцать хотел о тебе.

Дни бежали нестройной гурьбою,
Но, страдая к тебе и любя,
Я надеялся только тобою
И мечтал бесконечно в тебя.

Я молчал во весь голос и в тряпку
Без сомнений, обид, выкрутас...
Я молчал под кровать и в охапку,
На луну, за забор, в унитаз...

Я объездил с концертами Грозный,
Нижевартговск и Новый Афон.
И везде просит публика слёзно,
Чтобы я помолчал... в микрофон.

Шансон-стандарт

*Упаду я в постель, словно в тихое море
И закрою глаза, погрузившись в печаль
Ты мне нежно сказал: «Chao, bambino» и «Sorry»
...Затуманила взор черной ночи вуаль...*

.....

*Упаду я в постель, словно в синее море...
И закрою глаза погрузившись в тоску
Я тебе прошепчу: «Chao, bambino» и «Sorry»
Ты прости... просто я, разлюбить не могу!!!»*
Ю. Чернова

Упаду я в постель, сняв ночную рубаху,
К примирению сделав несмелый шагок...
Ты мне нежно прошепчешь: «Пропала собака».
И, возможно, добавишь: «По кличке Дружок».

Упаду я в постель, если выпадет случай
Позабыть про обиды, измены и ложь...
Ты шепнёшь мне на ушко, мол, «Бесаме мучо»,
Я в ответ: «Может, дам, может, дам чё ты хошь».

Ты мне скажешь, что «волны и стонут и плачут»,
А порой даже «плещут о борт корабля»...
Упаду я в постель, не могу я иначе!
«Виновата ли я, виновата ли я»?

А вчера ты сказал, нервно смяв сигарету,
Что лишь мною хотел облади-обладать...
Я не стала искать нестандартных ответов
И без лишних раздумий упала в кровать.

Бастурмамбо

*Шумел прибой, матросы пели,
Полз краб по влажному песку.
Мы с вами, милочка, сидели.
Вы мне напомнили треску.*

*Не обижайтесь, вы — прекрасны,
Вы пахли сладостной водой.
И были губы ваши страстны,
И грудь вздымалась бастурмой...*

Вениамин Ленский

Шумел камыш, матросы пили,
А боцман дрых без задних ног...
Вы пахли, словно чахохбили!
И я не в шутку занемог..

Ваш ясный взор — светлей лазури!
Достоин лермонтовских строк...
Я называл вас — Хачапури...
И лучше выдумать не мог!

Ах, этот запах, милый, тонкий,
Ни с чем не спутать на земле!
А ваши рульки и бульонки!..
Грудинка, окорок, филе!

Я нежно гладил ваше сало,
От чувств дрожа, как холодец...
Мой возбуждённый оковалок
Призывно ткнулся в ваш кострец...

Я целовал вас в иступленье,
И сердце нежностью свело!
Я тискал мягкие пельмени,
Лобзал корейку и седло...

Вы стали мне дороже музы!
Я б не отдал за миллион
Голяшки ваши и огузок,
Мослы, загривок и миньон!

Ваш милый образ не разрушит
Разлуки долгая метель!..
Ведь я любил... всю вашу тушу,
Роняя слюни на постель.

Ирина Акс (США)

Балтийская лирическая

*Балтика, прими усталость плоти
В бесконечность вереницы дней,
В синеву холодных мелководий,
В тишину заброшенных аллей.*

*Балтика, пошли мне дар покоя,
Чтобы жизнь бесцельна и проста...*

Елена Литинская

Балтика! Горчащий привкус пены
на моих обветренных губах...
Ты врачуешь душу, постепенно
изгоняя боль, печаль и страх.

Балтика! Меня сжигает жажда!
Жизнь моя бесцельна и проста.
Я — как все: ведь каждый хоть однажды
этой влагой омывал уста...

Балтика! Навеки покоренный,
истекаю страстною строкой.
Это ж не *Будвайзер*, не *Корона*,
Это вам не *Хейникен* какой!

Пульсируя виском

*Туда, где жизнь пульсирует виском
Доверчиво-открыто, без защиты...*

*Эх, только б устоять... Из худших свар
Я выходил, отплевывая зубы.*

Дмитрий С. Бочаров. «Мое кредо»

Был мною образ яростно иском,
«Брось! — говорила Муза, — не ищи ты!»,
но мой талант пульсирует виском,
коленками трясется без защиты.

Буквально дыбом волосами встав
и выпучившись круглыми глазами,

мой дар нуждался в белизне листа!
Я в предвкушении шедевра замер —

но нет... беседы с Музой мне не впрок...
И я упал, недопарив над бытом,
отплевывая зубы вместо строк,
пока Пегас отбрасывал копыта...

Еще одна Золушка

*Возможно, это всё мне только снится...
Часы пробьют двенадцать раз подряд
И золушки, и платья (даже принцы)
Мгновенно превращаются назад.*

Ал. Керженевич

Вот так оно по жизни и ведется:
Балы-шмалы... а чуть разуй глаза —
Все эти прынцы и другие поцы
Мгновенно превращаются назад.

Вы так мечтали сделать Вам красиво,
Вы так читали сказок и стихов!
И — здасьте вам: проштамповали ксиву —
И он — супруг до самых потрохов.

Шептать ему влюбленно и невнятно,
Тепла и прочей нежности ища,
Шоб он таки ответил Вам обратно,
Шо предпочел бы сала и борща?

Картина маслом: муж, храпящий в кресле,
Нахально пахнет пивом и тоской...
Оно Вам надо? Это даже если
Он прынцем был... Так в прынципе — на кой?

Вначале — выкрутансы-реверансы,
Двенадцать бьет — и ты не при делах...
Ах, девушки! Не верьте в эти мансы
И не теряйте обувь на балах!

Марина Генчикмахер (США)

Борьба за мир

Басня

Окапи, Зебра и Тапир
Бороться вздумали за мир.

У них по воздуху сперва
Носились громкие слова,

А после, честь по чести,
Помчались клочья шерсти.

Потом, во имя мира,
Прикончили Тапира...

Мораль простая, братцы:
За мир не стоит драться!

Александр Германт (Германия)

Бывший москвич, в 1992 г. переехал в Германию. Живёт в Дюссельдорфе. Одностишия А. Германта публиковались в книжной серии «Литература русского зарубежья» и в литературном альманахе «Под небом единым».

Я щей вам наварил, готовьте лапти!

* * *

Платон мне друг, а истину зложим.

* * *

Ума не занимать мне, просто негде...

* * *

Не напрягай мозги — они не вечны!

* * *

Я пью за Вас, дождитесь результата...

* * *

Иди ко мне... и не забудь про пиво...

* * *

А верность я храню по четвергам.

* * *

Мне девушки важней, чем самолёты...

* * *

Любовь во мне живёт, но без прописки.

* * *

А те, кто не со мной, совсем не против...

* * *

По звону догадалась: Вы с мороза...

* * *

Так Вы — любовь? Так это Вас так долго...

* * *

Я Вас готов любить без инвестиций.

* * *

Вам без меня недолго жить осталось...

* * *

Мне Вас вчера в постели не хватило...

* * *

А Вы ко мне из страха лишь прижались?

* * *

Я Вас хотел, а Вы хотели кушать...

* * *

А кто тебе сказал, что я железный?

* * *

Ты знаешь, а вчера я был в расцвете...

* * *

А ты начни с меня. Я оправдаю...

* * *

А кто совет мне дал из-под кровати?

* * *

Так Вы ей муж! Чего же Вы в прихожей?..

* * *

Как беспокойен сон с женой боксёра...

* * *

Подвиньте мужа к стенке — он мешает...

* * *

Муж протрезвел, увидел и напился.

* * *

Ну да, в шкафу. Не на балкон же голым!

* * *

Мозгами пораскинул я... и спятил.

* * *

И вот престал пред Богом гинеколог...

Михаил Левин (Германия)

Семейное положение

То, что я женат, — скрывать не стану
И могу признаться, не тая:
У меня семь жён (под стать султану!) —
Шесть чужих и плюс одна своя.

Ей не дано предугадать...

Как только о будущем дама пророчит,
Скорей валерьянкой её успокой:
Ведь редкая женщина знает, что хочет,
Но даже и эта не знает: на кой?..

Противоожоговое

(Женщинам русских селений)

Женщин я попрошу принародно,
Чтоб не знали ожогов они:
Жеребца на скаку — как угодно,
Но в горящую избу — ни-ни!

На море с женой

Хочу нырнуть в морскую глубину,
Однако вечным чувством дорожу я:
На море каждый раз беру жену
И каждый раз, естественно, — чужую.

Проверка зрения

Когда блондинка вышла от глазного,
Был у неё весьма печальный вид.
— Что окулист сказал тебе такого?!
— Сказал, чтоб я учила алфавит!

Виртуальный роман

Ещё недавно в виртуале
Они друг друга целовали,
Потом ушла она в реал,
Чем он сражён был наповал.

Частушка

Дайте парус кораблю,
Дураку — извилин.
Третий раз тебя люблю —
Я любвеобилен!

Реклама

Понятно нам, как дважды два — четыре,
Что совершенства ждать — напрасный труд.
Ничто не абсолютно в этом мире...
Ну, разве только водка «Абсолют».

Мемуары

Природа всё продумала сама —
Зачем же, вопреки её заботам,
Твердит кусок засохшего дерьма
О том, что был он сочным антрекотом?

Родина слышит? Родина знает?

Припасли слов душевных немало
Для тебя, разлюбезная Русь,
А того, что в ответ ты сказала, —
Даже я повторить не берусь.

Плач о трубадурах

То ли время виновато,
То ли климат здесь таков:
Трубадуров — маловато,
Много трубодураков.

Хороша страна Япония...

Не бывал в Японии ни разу,
Для России интеллект храня,
Даже гейш не видел косоглазых...
Как японцы заждались меня!

И я был тоже молодой...

И я был тоже молодой,
И жил, как в сказках нас учили.
Нашёл я кран с живой водой,
Но воду сразу отключили.

Анна Людвиг (Германия)

Заявление

Уважаемый Март, я, надеясь на скорый ответ,
Вам пишу заявление с нижеуказанной целью —
Мне бы очень хотелось в Москве поработать капелью,
В Петербурге, к несчастью, вакансий давно уже нет.

Что сказать о себе? Наблюдается масса причуд,
Но характер нормальный, меня не возьмёшь на арапа.
Если надо, конечно, порою могу и накапать,
Но при этом, хочу подчеркнуть, никогда не стучу.

Есть желанье работать, имеется нужный азарт,
И апатия длинной зимы до черта надоела.
Так рискните, прошу, и возьмите на мокрое дело!
Вам жалеть не придётся, клянусь, уважаемый Март!

О женской логике

«Как нелогичны женщины всегда!» —
Мужчины утверждают. Мы на то,
Во-первых, им ответим: «Клевета!»,
А во-вторых, добавим: «Ну и что?!»

О языках

Спор вавилонский стар и бестолков
И не совсем понятен мне: ведь я же
Из всех разнообразных языков
Предпочитаю всё-таки говяжий.

Жизненный девиз

Отец с любовью относился к людям,
Обидчиков ни разу не кляня,
Он говорил: «Пусть хорошо им будет,
Причём, как можно дальше от меня!»

Озарение

Задумавшись, а по какой причине
Нам тощими так стало модно быть,
Я догадалась: это чтоб мужчине
Хотелось не пристать, а накормить!

Приоритет

Ему внимала при свечах —
Какой язык, ну что за диво!
Хоть смысла не было в речах,
Но как он, гад, вещал красиво!

Татьяна Юфит (Великобритания)

Зачем?

*Когда на свете есть твой ум,
Зачем мне нужен мой?*

Ирина Новожилова

Не стану каторжным трудом
Томить себя, родной:
Когда на свете есть твой дом,
Зачем мне нужен мой?

И на взаимный интерес
Рассчитывать могу ль:
Когда на свете есть твой «мерс» —
Зачем мне мой «жигуль»?

Ты что над книжками затих,
Как тятка над межой?
Когда на свете есть мой стих —
Зачем тебе чужой?

Талант

*Эх, судьба моя сайгачья, голенастые бега —
Груши, помню, околавивал, в грудь ногой себя лягал...»*

Геннадий Банников

Никому не подражая,
Твёрдо веря в свой успех,
Я на сборе урожая
Обхожу, как спринтер, всех!

Говорите: «Это тяжко —
Задирать к груди ногу»?
Но с моею-то растяжкой
Я не то ещё могу!

Просчитался

Досчитай меня до ста!
Ольга Олгерт

Утруждать себя не стал —
Вот оно и вышло боком:
Посчитал, что я проста,
Да ошибся ненароком.

Эта трещина в судьбе —
За бездействие награда.
Что бы стоило тебе
Посчитать меня как надо?

Елена Лапина-Балк (Финляндия)

Всякие мыслишки

* * *

И ведь не болит голова у дятла,
хоть и бьется он ею, бьется...

* * *

Замечательная у него жена:
ну ничего не замечает!

* * *

А на прощание выключила свет
и в мечте, и на кухне...

* * *

Кризис среднего возраста:
желания так кричат, что парализуют действия.

* * *

Словоблудие, как рукоблудие —
всегда имеет свой предмет.

* * *

Он просто взял и вошёл в её мир,
вот выйти оказалось сложно.

* * *

Для него обладание — это процесс,
для неё — право пользоваться платиновой картой.

* * *

Она ему: «Руки ослепли, глаза онемели без тебя, любимый, а ты...»
А он ей: «Береги себя, дорогая, мужчины любят здоровых».

Виктор Каган (США)

Психотерапевт, доктор медицинских наук. С 1999 г. живёт и работает по специальности в США. Первые поэтические публикации — в 1960-х годах. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор книг стихов: «Долгий миг» (СПб: Гармония, 1993), «Молитвы безбожника» (Рязань: Поверенный, 1-е изд. — 2006, 2-е изд. — 2007), «Превращение слова» (М: Водолей Publishers, 2009). Стихи публиковались в сборниках: «В пятницу после семи» (Л.: Лениздат, 1968), «Асклепий и Музы» (СПб: 2005), «Общая тетрадь» (М.: Э. Ра, 2007), в альманахах и журналах «Побережье», «Еврейская старина», «Нева», «Новый журнал» и др. Дипломант Международного Волошинского конкурса (2005, 2008).

Из цикла «Бартошки»

(по мотивам известного стихотворения Агнии Барто)

Белла Ахмадулина

Не Ванга, но провидчески слепа,
Я так была божественно глупа,
На цыпочках взлетая в сны о детстве,
Что не заметила, как не во сне, а вьяве,
К судьбе припала, как Сократ к отраве,
О том не ведая в опаснейшем соседстве

С летящими предметами. И вот
Они вершат таинственный полёт.
И среди них, как с крыши камнем книжка,
В которой кто-то Мишку уронил,
Задумавшись иль просто был дебил —
Но вот уже без лапы бедный Мишка.

Ясней, чем наяву, себе я снюсь.
Я одиночества пронзительно боюсь.
Упал и подозрительно затих
Товарищ мой. А я в тоске и страхе
Рыдаю о несчастном замарахе —
Ведь я люблю товарищей своих.

И чтоб моя не дрогнула рука,
Армянского приму я коньяка,
Спущусь под стол, где круг девятый ада,
Спасу его, пришью ему конечность,

И наша дружба будет длиться вечность.
Хороший Мишка. Мне других не надо.

Анна Ахматова

И девочка, что Мишку уронила,
И мальчик, что поднять его не смог,
И их любви таинственная сила,
И с приворотным зельем пузырьрёк...

Я помню всё. Оторванная лапка
И в пуговицах глаз стоит слеза.
Не находя потерянного тапка,
На тёмные крещусь я образа.

Не надо мне ни почестей, ни славы.
О, был бы Мишка — друг хороший мой.
Но херувим шепнул в ночи лукаво,
Что никогда не будет он со мной.

Борис Пастернак

Чернила вышли в феврале.
Я тихо плакал.
Пурга мела по всей земле.
И Мишку — на пол.

Свеча горела. Воск стекал,
Слезами капал.
А Мишка под столом искал —
Ну, где же лапа?

Сплетенье душ, сплетенье лап —
Как было славно!
Где Айболит, где Эскулап
И Склиф подавно?

Я Мишку подниму: «Ну что?
Что, милый Мишка?».
Закутаю в кашне, в пальто
И вставлю в книжку.

Пусть бьётся в форточку пурга,
Метёт порошей.
Мне с Мишкой дружба дорога.
Ведь он хороший.

Евгений Евтушенко

А Мишка за диван завалится
И будет там лежать в тиши,
Пока в мозгу моём заладятся
О Мишке грустные стихи.

Оторванная лапа стружкой
Сочится на пол из плеча.
А он беспомощною тушкой
Лежит, и надо звать врача.

Но мне покажется, покажется,
Что можно малость подождать
И всё само собой уляжется,
Пока я буду сочинять.

Слова потянутся, потянутся
Целебным чудом из грехов,
И раны Мишкины затянутся
Под пластырем моих стихов.

Поэзия не терпит бантиков.
Ищу я высшей простоты.
Мне Мишка улыбнётся с фантика
И скажет: «Женя, гений ты!»

Булат Окуджава

Я с Мишкой много лет дружил.
Хоть он не нов, не в том же дело.
Пусть его шёрстка поредела,
Но он по-прежнему мне мил.

Как был прекрасен наш союз.
Ты Мишку на пол уронила.
Я думал, просто пошутила.
Как бы не так. И я боюсь.

Мне говорят, мол, не беда,
Вот мы его уже врачуем,
Заштопаем, перелицуем...
Ах, не волнуйтесь, господа.

Я лапу Мишке сам пришью.
А ты меня ревнуешь к зверю,
Как будто снова я поверю,
Чудачка ты, в любовь твою.

Содержание

Обращение к читателям Председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом	3
Вместо предисловия	4
Истории моей семьи	
Наталья Лайдинен (Финляндия)	5
Екатерина Муртузалиева (Россия, Дагестан)	9
Виктория Поплавская (Швейцария)	13
Людмила Клёнова (Израиль)	17
Людмила Кирпу (Финляндия)	20
Эдуард Добрыкин (Израиль)	24
Хамдам Закиров (Финляндия)	27
Елена Лапина-Балк (Финляндия)	29
Сергей Ачильдиев (Санкт-Петербург)	35
Австралия	
Семён Климовицкий	40
Бельгия	
Александр Мельник	45
Великобритания	
Екатерина Горбовская	48
Татьяна Юфит	52
Германия	
Лео Гимельзон	55
Карина Дворски	60
Михаил Левин	63
Анна Людвиг	69
Израиль	
Борис Дадашев	74
Людмила Чеботарёва	81
Людмила Клёнова	89
Ефим Хаят	94
Италия	
Лара Леггатт	101
Россия	
Максим Грановский	107
Елена Карелина	112
Алексей Филимонов	117

США

Юлия Резина	121
Ирина Акс	125
Михаил Садовский	129
Лия Чернякова	135
Марина Генчикмахер	138
Василий Тюренокв	143
Вик Стрелец	146

Финляндия

Елена Лапина-Балк	160
Надежда Жандр	163
Людмила Кирпу	168
Иван Бережной	173
Наталья Лайдинен	175
Хамдам Закиров	180
Наталья Пейсонен	182
Юлия Коликова	186

Франция

Олег Яковлев	192
Юрий Юрченко	195

Швеция

Алекс Сандерс	204
-------------------------	-----

Эстония

Игорь Белкин	207
------------------------	-----

Юмор

Алексей Березин (США)	213
Ирина Акс (США)	216
Марина Генчикмахер (США)	218
Александр Германт (Германия)	218
Михаил Левин (Германия)	220
Анна Людвиг (Германия)	222
Татьяна Юфит (Великобритания)	224
Елена Лапина-Балк (Финляндия)	226
Виктор Каган (США)	227

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ МИРОВОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДИАСПОРЫ

3/2009

Корректор *Т. П. Княжицкая*
Верстка *Е. В. Минина*
Дизайн *Е. О. Шварева*
Художник *Екатерина Посецельская*

Подписано в печать 26.06.2009. Формат 70 x 90 ¹/₁₆
Гарнитура Ньютон. Печ. л. 14,5

Отпечатано издательством «Геликон Плюс»
Санкт-Петербург, ВО, 1-я линия, дом 28
<http://www.heliconplus.ru>